

# Николай Герасимович Помяловский

## Молотов

Повесть «Молотов», продолжение «Мещанского счастья», репрезентирует героя спустя 10 лет, за это время Молотов узнает, чего стоит независимость и разочаровывается во многом, хотя его переполняет гордость, что он ничем никому не обязан.

**Николай Герасимович  
Помяловский**

# МОЛОТОВ

Осень глубокая.

На Екатерининском канале стоит громадный дом старинной постройки. Он выходит своими фронтонами на две улицы. Из пяти его этажей на длинный проходной двор смотрит множество окон. Барство заняло средние этажи — окна на улицу; порядочное чиновничество — средние этажи — окна на двор; из нижних этажей на двор глядят мастеровые разного рода — шляпники, медники, квасовары, столяры, бочары и тому подобный люд; из нижних этажей на улицу купечество выставило свое тучное чрево; ближе к нему, под крышами, живет бедность — вдовы, мещане, мелкие чиновники, студенты, а ближе к земле, в подвалах флигелей, вдали от света божьего, гнездится сволочь всякого рода, отребье общества, та одичавшая, беспашпортная, бесшабашная часть человечества, которая вечно враждует со всеми людьми, имеющими какую-нибудь собственность, скрадывает их, мошенничает; это отребье сносится с днищем всего Петербурга — знаменитыми до-

мами Сенной площади. Так и в большей части Петербурга: отребье и чернорабочая бедность на дне столицы, на них основался достаток, а чистенькая бедность под самым небом. В этом доме сразу совершается шесть тысяч жизней. Он представляется громадным каменным брюхом, ежедневно поглощающим множество припасов всякого рода; одни нижние этажи потребляют до осьми телег молока, огромное количество хлеба, квасу, капусты, луку и водки. На дворе беспрестанно раздаются голоса и гул, слышен колокольный звон к обедне, стук и гром колес по мостовой, в аптеке ступа толчет, внизу куют, режут, точат и пилят, бьют тяжко молотом по дереву, по камню, по железу; кричат разносчики, кричат старцы о построении храмов господних, менестрели и трюверы нашего времени вертят шарманки, дуют в дудки, бьют в бубны и металлические треугольники; танцуют собаки, ломаются обезьяны и люди, полишинеля черт уносит в ад; приводят морских свинок, тюленя или барсука; все зычным голосом, резкой позой, жалкой рожей силится обратить на себя внимание людское и зарабо-

тать грош; а франты летят по мостовой, а ступа толчет в аптеке, и тяжко-тяжко бьет молот по дереву, по камню, по железу.

Вечер. Тридцать минут седьмого.

В том же громадном доме, в среднем этаже, есть квартира на улицу окнами, которую занимает семья чиновника Игната Васильича Дорогова. Вся семья приютилась около круглого стола в небольшой комнате, освещенной стеарином. Направо сидит женщина лет сорока в чепце безукоризненной белизны, с лицом умным, моложавым и серьезным — это мать семейства, Анна Андреевна Дорогова; налево супруг ее — читает газету; старшая дочь Надя, девушка лет двадцати, вышивает; в то же время, под ее руководством, меньшая сестра занялась азбукою; здесь же приютился и гимназист с латинской грамматикой; два младших брата играют в медные солдатики; самый меньшой спит в люльке... Тихо... Всякий занят своим делом; изредка перекидываются незначительными фразами, которые для всех нас заготавливает повседневная жизнь. Слышен шелест газеты, треск в комнате, шо-

рох платья, монотонные склады, тихий смех и разговор играющих детей, щелканье маятника и удары люльки... Уединилась эта жизнь, и глухо, точно из другого царства, пробивается сквозь двойные рамы шум и грохот городской. Таких тихих вечеров много бывает в этой семейной жизни, и мало слов говорится в те вечера. И зачем слова? Откуда взять материалу для речей? У всякого возникает своя мысль, возникают и зреют думы и мечты, воспоминания и образы. Игла матери пробирается по краю платка, из-под ноги раздаются удары колыбели, сбоку склады дочери, а мысль ее летит по всему пространству прожитой жизни и хочет заглянуть в будущую. В душе девушки развиваются фантазии и воздушные замки, обдумывание разных планов и секретов, воспоминание домашней и институтской жизни. Многие женщины любят рукоделье, потому что во время его остается полная свобода для незанятой мысли. Эта семейная группа в настоящую минуту полна смысла и мирного счастья, а между тем тут нет душевной тревоги, страстей, насильственных острот и фраз. Когда во всем Петер-

бурге окна запираются двойными рамами, тогда в низших слоях среднего сословия начинается домашняя, комнатная, запертая в кружки жизнь, и в это время многих манило в светлые, чистые, тихие комнаты Дороговых, потому что зимой скучно и всякий ищет случая приютиться к чужому мирному гнезду. Такого гнезда ищут все бездетные и бессемейные; часто холостяк, одуревший в уединении или разгуле, заходит в те дома, где горит тихая жизнь, хотя бы для того только, чтобы без дела и развлечения, а просто так, сложа руки, посидеть за семейным круглым столом. Иной и отец семейства бежит опрометью из своего дома, потому что там дети плачут, у жены зубы болят, прислуга расчета просит. А вот и бедненько одетый чиновник заглянул случайно в светлую комнату, и у него от зависти навернулись слезы на глазах. «Вот как живут-то!» — думает он. Но бедняк не знает, как трудно выработывается и добывается эта мирная жизнь. Если бы предложить ему, чтобы он прошел весь путь, после которого достигается такая жизнь, он, вероятно, махнув рукой, сказал бы: «Нет, трудно!» — и поплел

бы опять горемычную жизнь, подумав про себя: «О господи боже, где бы денег украсть на честный манер, так чтобы можно было жить среди честных людей!»

Да, не сразу устроилась эта жизнь; лет сто, целый век должен был пройти прежде, нежели создалась эта мирная семейная группа, которую мы видим в светлой, уютной комнате за круглым столом. Лет сто назад, когда еще не было громадного дома старинной постройки, жили в Петербурге старик со старухой. Старик шил дрянные сапоги, а старуха пекла дрянные пироги, и такими трудами праведными они поддерживали с бедой пополам свою дрянную жизнь. Но дочь их Мавра была умна, хороша, выучилась грамоте, читала историю и Псалтырь, Четьи-Минею и сонник, Бову и новейший песенник. Скоро случилось, что она осталась круглой сиротою, без состояния, без покровителей. На помощь явился Чижиков, мелкий-мелкий чиновник; ему понравилась Мавра Матвеевна, и он женился на ней. Тогда-то обнаружились ее таланты. Уже в медовый месяц началась ее трудовая жизнь; вставала она в четвертом часу, ложи-

лась в одиннадцать, стряпала, стирала, шила, мыла, а потом, когда благословил ее бог, нянчила детей — все сама. Научилась она бабничать, знакома была с мелкими торговками, умела все купить по крайне дешевой цене. При всех недостатках, Мавра Матвеевна с изумительным тактом сводила концы с концами и даже откладывала кое-какие гроши в запас, не на черный день, а, как мечтала она, на светлый. Жизнь ее день ото дня становилась светлее. В квартире Чижикова незаметно стали являться довольство и приличие, которых до того он не знал. Он, личность незначительная, смиренная, жившая до сих пор впроголодь, сразу подпал влиянию своей жены, что вышло для его же пользы. Он чувствовал себя хорошо и спокойно, не мог нарадоваться на свою хозяйку, на бедно, но чистенько одетых детей. Однако Мавра Матвеевна предоставила мужу не одно наслаждение жизнью; она доставала ему переписку нот и бумаг, по ее настоянию он выучился делать конверты, коробочки, вырезать из алебаstra зайцев с качающимися головами, лепить из воску мышей, кошек и медведей. Гордость маленького

чиновника сначала оскорблялась подобными занятиями; но когда под руками жены мыши и коробки превратились в рубли и полтинники, а рубли и полтинники вносили достаток в его семью, он подавил в себе гордость и удвоил рвение к занятиям всякого рода. Между тем бог благословил Мавру Матвеевну — у ней было много детей. Когда знакомые по этому поводу соболезновали ей, она отвечала: «Хоть еще столько!» Так и вышло. Увеличение семьи составляет для иных несчастье, а здесь оно повело к лучшему. Деятельный дух матери перешел и к детям; они с первого молодости привыкали к хозяйству; шестнадцатилетняя дочь Анна заправляла всем домом. Тогда Мавре Матвеевне стало удобнее отлучаться от семьи; она появлялась на всех аукционах, во многих домах бабничала, доставала детям работу из хороших магазинов, и таким образом, многотрудным рачением в продолжение двадцати с лишком лет, Марфа Матвеевна единственно своим умом и энергиею сумела вывести семью из тяжелой, одуряющей бедности. Наконец она почти руками могла ощупать ту мечту, которая когда-то представ-

лялась ей так далека и недостижима, для которой много ночей не спала ее большая семья за срочной работой. У ней составился порядочный капиталец. Тогда совершился переворот в ее жизни; алебастровые зайцы, конверты, собственноручное мытье полов и тому подобные чернорабочие промыслы и занятия были изгнаны из семьи, оставлена старая квартира, брошено знакомство с мелкими торговками. В новом месте, на Песках, отрешившись от чернорабочей жизни, она стала полною чиновницею, в чепце с желтыми разводами, в салопе с длинной пелериной и с огромным зонтом в дождливую погоду. Муж ее достиг столоначальнического термина, и стали его посещать столоначальники, их помощники, архивариусы, экспедиторы, контролеры. Они мало-помалу прививались к древу Мавры Матвеевны, вступая в брак с дочерьми ее. А сама Мавра Матвеевна еще в большой силе; когда дочь ее Анна родила сына, тогда она родила себе еще дочь, другую Анну — это было последнее и самое любимое ее дитя, рожденное в светлой комнате и положенное в кружевные пеленки, это и была Ан-

на Андреевна Дорогова. И вот поколение Мавры Матвеевны стало расти шире и шире, получая в наследство ее деятельный и практический дух. От нее-то и произошли Бирюковы, Касимовы, Дороговы, Рогожниковы, Ильинские, Бенедиктовы, Череванины; по крайней мере, ее духом связались воедино. Тогда Мавра Матвеевна, по ее понятию, достигла возможного счастья. Образовалась целая порода чиновников, особая корпорация, члены которой служили в бесчисленных присутственных местах столицы. По родственной связи поддерживая друг друга, они всегда давали знать своим о вновь открывшейся вакансии, за своих горой стояли, добывали протекцию, и таким образом поколение, созданное Маврою Матвеевною, проработывало себе карьеру во всех сферах чиновного царства. Многие тогда знали Мавру Матвеевну, и маленький чиновник считал за особое счастье попасть в ее кружок. Чтобы представить себе такое счастье, надобно отрешиться от обыкновенного понимания карьеры, с которым соединяются генеральские чины, многотысячные капиталы, внушающие звезды, аристо-

кратические жены, поместья — все, что добывается в высших сферах бытия, где и поклоняются высшим богам и богиням. Есть другого рода карьеры, не поднимающиеся выше столоначальнического термина, так что этот термин, как путеводная звезда, блестит для юноши где-то далеко, в глубокой старости. В этой-то сфере Мавра Матвеевна занимала высшее место, распоряжаясь силами многих душ чиновных. Так она приобрела в своем кругу значение и вес, которые успела упрочить и за детьми своими. На шестидесятом году она лишилась мужа, оделась в черное, оставила все дела, читала духовные книги и знала пол-Библии на память; часто можно было видеть, как она оделяла нищую братию грошами и копеечками, приговаривая: «поминайте раба божия Андрея...» На осьмидесятом году она купила себе место на Волковом кладбище подле могилы мужа, «абонировалась», как выразился тогда один из ее внуков, обнесла место палисадником, насадила клеону, малины и сирени. А поколение ее разрослось до осьмидесяти человек. Очень стара она была в то время; под чепцом ее все побелело;

морщины на лице, на руках, на шее превратились в трещины; она сторбилась; память ее отказывалась от сегодняшнего дня, хотя все случившееся давно старуха рассказывала с изумительными подробностями, повторяя одно и то же несколько раз, всегда одними словами и в том же порядке. Ее жития? было девяносто один год, и похоронена она, как завещала, среди малины и сирени.

По мужской линии род Дороговых восходит до времен Анны Иоанновны. Первые известия о них сохранились в документе, который оставлен прапрадедом потомству, под именем: «Памятник событий», так что лет через тысячу род Дороговых будет очень древний. Из памятника мы узнаем, что прадед Дорогова был придворным конюхом, служил под начальством Волынского, который однажды пожаловал его сотней рублей, в другой раз — шубой, а однажды ни за что отодрал кошками; дед был приказным, а отец уже чиновником назывался; наконец в лице Игната Васильича древняя кровь окончательно очистилась и возвысилась. Таким образом, поколения прабабушки-мещанки и прадеда-коню-

ха слились воедино и так переродились, что теперь невозможно и подозревать, что предки их некогда стояли на такой низкой общественной ступени. Таковы исторические судьбы!

Во всякой черной работе есть идея, стремление осуществить в жизни свое желание, завести такой порядок, какой хочется, заставить судьбу совершать те события, которые нам нужны. Мавра Матвеевна народила много детей и при их пособии забрала судьбу в руки. Надо же наконец было воспользоваться ею. Чего хотели эти люди? Они из сил бились-выбивались, чтобы заработать себе благосостояние, которое состояло не в чем ином, как в спокойном порядке с расчетом совершающемся существовании, похожем на отдых после большого труда, так чтобы можно было совершать обряд жизни сытно, опрятно, честно и с сознанием своего достоинства. Такой идеал у них определялся словами «жить как люди». Они справедливо думали, что до сих пор только работали, а не жили. Теперь отдых настал, и, естественно, им казалось, что самое блаженное состояние на земле — это

вечно отдыхать, чувствуя ежедневное спокойствие и упрочивая это спокойствие на завтрашний день. Больше ничего. Но семье все-таки поздно было начинать жизнь снова: много лет ушло, сил потрачено, горя помнилось; оставалась на сердце обида на двадцать лет трудной жизни; поневоле хотелось отвести на ком-нибудь из своих того идеала, который им был так любезен, прочувствовать день за днем, какое есть на свете существование хорошее, и вот вся страсть к жизни нашла исход, окончательно заверченный при появлении Аннушки, к дню рождения которой отец, мать, братья и сестры доработались своего благосостояния. Все заботы семьи выпали на долю последнего дитяти; все любили это дитя, наперерыв ухаживали за ним. Трудно представить себе то довольство, то бесконечное наслаждение, какое ощущали они, глядя на дитя в кружевных пеленках на руках здоровой и красивой няньки, дитя, начинающее жить так, как им хотелось. «Так бы и нам расти нужно было!» — думали они. Жизнь этого ребенка была произведением многих рук, непокладно работавших двадцать лет,

потому он и был гордостью семьи. «Что-то будет?» — думали они, и ни на минуту не закрадывалось в их сердце сомнение, что Аннушка, быть может, не оправдает их надежд. Они не имели случая разувериться в ней. Когда Аннушка стала понимать, ей родные рассказали, что она сейчас же может начать благоденствовать, что они много трудились для нее и всё приготовили; рассказали, как они бедствовали, терпели нужду, не спали ночи над срочной работой, копили деньги; они дали понять ей, какая страшная сила в деньгах, и показали ей много денег. Они говорили, какая у них была квартира, каким пьяным, грязным, ворующим соседством они бывали окружены, какое у них было знакомство, и при этом обнаруживали искреннюю радость, что она ничего подобного не испытает. Преступный быт казался Аннушке противным и тягостным; в то время она чувствовала, что недавно еще все успокоились после долгого выбивания на свет божий, и убедилась, что цель достигнута, дальше некуда стремиться, до предела дошли. У ней под влиянием таких условий выработался склад души вполне яс-

ный, определенный, удовлетворенный. Она любила своих родных, свое хозяйство, свое благосостояние. День за днем проходили ее девственные годы, без порывов из замкнутого около ее круга. Все шло у ней регулярно, чинно, благонаравно; репутация ее была в высшей степени безукоризненна. В таких девушках предвидятся отличные хозяйки. Она желала себе всего того, чего ей другие желали. Отсюда не следует, что у нее не было своего ума и своей воли; напротив, она была умна и настойчива, но ее ум и воля вполне совпадали с целями старших; она сама хотела всего того, что с ней случалось. Насилия не было. В ее натуре не было нравственной потребности сделать попытку — взглянуть за пределы семейного мира. Она родилась в такой положительный час, когда завершался результат долгой работы целого поколения, результат, которым осталось ей только воспользоваться. В ней воплотился идеал поколения, и вот к таким-то личностям невозможно относиться обличительно, представляя их ограниченный кругозор; нельзя досадовать, видя их спокойные лица, выражающие откровенное нежела-

ние идти вперед. «Довольно!.. для нас лучше-го не надо!» — написано на их красивых, дышащих счастьем лицах. Невольно соглашаешься, что такое спокойствие вполне законо-но, точно чувствуется, что жизнь и природа, долго работая в этом уголку сословия, хотели достигнуть пока ближайшей цели, достигли, сложили руки и отдыхают. Напрасно гово-рить Аннушке, что есть жизнь более полная и широкая, хотя часто сопровождаемая душев-ными муками и не так обеспеченная, — она ничего не поймет и ничему не поверит. Если же на минуту и возникнут в душе ее сомне-ния, она спросит мамашу, сестер, и те легко и ясно докажут ей, что нет счастья выше их счастья — сытного и спокойного, регулярно каждый день справляемого. Впрочем, на ее долю не выпало и случаев таких, которые за-ставили бы ее развиться в ином направле-нии. Книги ей попадались большею частью такие, которым нельзя было верить, — либо очевидно лгали, описывая то, чего нет на све-те, — либо такие, которых она не понимала. Правда, она читала и лучших поэтов, но и они не расшевелили ее: в книгах она не на-

шла ничего похожего на свою жизнь, что отчасти случилось и с дочерью ее Надей, хотя у последней имело совершенно иной исход. Книжки развили ее вкус и научили говорить хорошо. Не много она получила и от пансионного воспитания. Наконец, в кругу этой девушки не было тех образованных молодых и горячих на слово людей, которые могли бы увлечь ее, — всё чиновники, чиновники и чиновники, ох, как много чиновников! Да и явись самый увлекательный мужчина и позови Аннушку на иную жизнь, она, прислушавшись чутко к новым речам, увлеклась бы на несколько минут, а потом опять точно ничего не слыхала, ничего не узнала. Вот это-то и называется цельною натурою. Она всегда прилична, достаточно благочестива, старшим покорна, к хозяйству прилежна. Но полной женщиной она сказалась во время замужества; тогда в ее характере развились новые стороны, которые в девушке лежали пока в зародыше.

Брак Анны Андреевны состоялся после семейного совета, в котором и она принимала участие. Когда обсудили со всех сторон дело и

нашли, что Дорогов — отличная партия, она сказала матери и сестрам: «я согласна», заплакала, но тотчас же почувствовала влечение к Игнату Васильичу, который, надо сказать, был молод и недурен собою. Она по чистой совести в церкви сказала — «да».

Анна Андреевна незаметно сделалась царицей домашней жизни, хотя это было для нее труднее, нежели для ее сестер, которые уже в медовый месяц обозначались полными домовладычицами, чему мужья и покорялись после легкой борьбы. Но знаете ли, каков был некогда ее муж, да и теперь остался отчасти? Он, как большинство, думал смолоду, что холостая жизнь есть самая лучшая жизнь не только потому, что она удобна для разгула и частой перемены любовного продукта, а и потому, что пока человек не женат, он никого не знает и знать никого не хочет, не стеснен никем, ни о ком не заботится, никого не кормит, все деньги идут на его одного; несчастлив, так один несчастлив, — никто, кроме тебя, не тяготится, никто вместе с тобою не плачется на судьбу; а счастье посетило, так возьми первого встречного на улице — всякий с

охотою разделит счастье. Не слышите ли чего знакомого в этой системе, по которой нам горько делить с ближним даже несчастье, потому что с какой стати будут вторгаться в мою душу посторонние люди? Этой системы смолоду держался и Игнат Васильич. Он женился бы в свое время, лет под сорок, когда бы понадобилась хозяйка, сиделка, стряпуха, когда нельзя ожидать большого плодородия, а следовательно, и больших расходов и забот по любовному делу. Так рассуждают самцы; такая система — дело расчета, коммерческий оборот. Но подошли же и сложились обстоятельства иначе. Игнат Васильич, — он до сих пор не понимает, как это с ним случилось, — страстно полюбил Анну Андреевну и до того запутался в этом деле, что увлекся и позволил себе жениться в молодых летах, на двадцать осьмом году жизни. Когда прошел первый пыл увлечения, он стал раскаиваться; когда же молодая, горячая страсть совершенно остывала и должна была превратиться в тихую, ровную и прочную любовь семьянина, он просто сбесился и начал так кутить, что едва его не выгнали со службы. В это время

он немного образумился. Между тем во время беспутной жизни мужа зрел характер Анны Андреевны. Будучи мещанского рода, она много сохранила в памяти рассказов о страшно изломанной семейной жизни, о деспотизме и полноправии мужей, о пьянстве их, домашней бедности и неисходном семейном горе. Анна Андреевна дрожала и бледнела от одной мысли, что и она может испытать такие же бедствия, она уже видела приближение их, и в голове ее проходили отвратительные картины разрушенного хозяйства, невоспитанные, быть может ворующие на улице дети, и в то же время она очень хорошо знала, что нет на свете власти между мужем и женою, жаловаться некому, судиться негде, что муж и жена так связаны между собою, что всякое наказание ему служит наказанием и ей, и детям, и всему будущему ее поколению. Она в ужасе падала перед иконою Божией Матери, и рыдала, и молилась. Бессонные ночи и полусонные дни летели чередой, но не было помощи ниоткуда. В один день она почувствовала, под сердцем ее что-то живет, — то была Надя; она сознала в себе силы

и решила бороться с мужем без слез и жалоб, требовать, тогда как до сих пор она только плакала, худела и умоляла мужа. Тогда ей жизнь дала новый урок. Игнат Васильич был страшно упрям и крепколюб. С ним трудно вести открытую войну; у него как-то особенно строились убеждения, организация их была оригинальна. Он, знаете ли, охотник и порассуждать, но, ради бога, не доказывайте ему ничего, не надейтесь приобрести в лице его адепта вашего учения, коль скоро заметите, что он с вами не сходится, — даром потеряете время. Лучше предоставить его самому себе: быть может, и догадается как-нибудь и сам дойдет до вашей мысли. Он долго слушает, запоминает слова ваши, соображает, и бровями поведет, и нос пальцем подопрет; он, по-видимому, увлекается, но под конец все-таки скажет неожиданно: «Да нет... все это не то... я не думаю так». — «Отчего?» Ответ старый. Трудно своротить Игната Васильича, потому что своя мысль сильно врастает в его крепкую голову. Кто знает этого человека, тот не любит с ним много говорить, а прямо приглашает к зеленому столу. При этом упорном характере

в нем были развиты дикие инстинкты. Он смеялся над любовью, несмотря на то, что женился по любви. Этот мормонист по натуре имел некоторые и служебные неподвижные истины. Он некоторых начальников глубоко ненавидел, но ни разу не подвел их, хотя и имел к тому много случаев; службу он считал священнейшим долгом своим, хотя одно время, увлекшись разгулом, едва не лишился места; человека выгнанного, даже напрасно, он презирал; формалист был страшный, смешивал самым искренним образом службу делу со службою лицу; исполнительность и безгласное повиновение считал едва ли не выше самого знания дела. Вот этого-то господина — произведение департаментской фауны — пришлось укрощать Анне Андреевне. Она решилась твердо предъявить свои права. Прежде при слезах и упрашиваньях жены молодой супруг только охал да хмурился, выжидая первого повода уйти из дому; но когда она стала требовать от него порядочной жизни как долга, упрекала его, напомнила брачные клятвы, Игнат Васильич вышел из себя, обругал жену, надел пальто и шляпу и, на ее же

глазах положив в портмоне двести рублей, скрылся из дому на неделю. Анна Андреевна едва не захворала; но у ней был организм железный, и она перемогла обиду. Она поняла, что за человек был Игнат Васильич; попытка наступить на мужа прямо — была с ее стороны первая и последняя. Она нашлась наконец. С того времени муж редко видал ее недовольною. Родилась у них дочь — это несколько привязало Дорогова к дому, а между тем в воображении Анны Андреевны быстро развернулась целая система действий относительно мужа, влияние которой он и испытывал на себе. Успех жены был полный, так что мы видим в Игнате Васильиче мирного семьянина, который изредка только отзывается по-старому холостяком, и то в слабой степени и в другом направлении. Анна Андреевна оказалась и умнее и сильнее своего мужа. Она незаметно сделалась полной царицей домашней жизни; ее планы, ее мечты осуществлялись, а муж должен был ступешеваться. Где же она нашла силы? Это женский секрет. Она принялась ткать дивную ткань тонкими шелками по канве семейной жизни, долго и усид-

чиво. С грубой силой, с незаконным правом вступил в тайную, подземную борьбу ум женский — изобретательный и изворотливый, гибкий и терпеливо выжидающий. Дорогов не замечал, как подводили подкопы под его убеждения, перевоспитывали его, перестраивали, отняли у него прежний характер и дали ему совершенно иной. Он не подозревал, что, при всех поцелуях, при всей любви к нему, Анна Андреевна ни разу в продолжение двадцати двух лет не была вполне откровенна с ним, изучает все его слабые стороны, знает, что? и когда может иметь на него влияние. Здесь требовалась работа мелкая, а Анна Андреевна любила заниматься узорами. У ней для того и времени много; муж на службе, а жена сидит за шитьем; голова ее свободна; она многое передумает, все рассчитает, взвесит и предусмотрит. Под полным влиянием Анны Андреевны дети и прислуга; она искусно делает их орудием своих целей: дети всегда хотят того, чего она хочет, ласкаются к отцу, готовят его, просят. Она сумела заставить детей любить отца, угождать ему, а через это отца привязаться к ним. У самой у

ней были дорогие для житейской практики свойства. Она, несмотря ни на какое расположение духа, могла держать себя ровно и прилично. Она говорит довольно связно и слушает настолько внимательно, что знает, что надобно отвечать, но в то же время думает о своем деле. Для собственных ощущений у нее не было выражения на лице; трудно догадаться, когда этот человек скучает или сердится; лицо ее сразу навсегда приняло известные формы, да так и не переменяло потом. Она никогда почти не краснела, не увлекалась, не отступала от внешних обрядов жизни. При этом Анна Андреевна мастерица заставить делать то, чего ей хочется, не сказав о том ни слова, не попросив ни разу. «Над диваном бы повесить отцовский портрет», — говорит муж. «Отчего ж и не повесить?» — соглашается жена, но ей это не нравится, и посмотришь — через полгода портрет висит в спальне за печкою. Потом Анна Андреевна сумеет навести мужа на мысль, что он захочет сам переменить место портрета, а жена, когда придет время исполниться ее затаенной мысли, притворяется и называет мужа бесхарак-

терным: тот захочет поставить на своем, а через это-то и сделает то, что желает жена. Анна же Андреевна устраивает ему и пульку, и шахматную игру, и любимое кушанье, и беседу умных людей. Она знает все его привычки и прихоти, знает, когда можно с ним говорить, просить его, желание его не исполнить, как приготовить сигару, где поставить солонку во время обеда; она сосчитала все мозоли на его ногах и чулки к ним приноровила. Анна Андреевна старалась сделаться необходимою для мужа, так, чтобы без нее у него весь день пошел бы навыворот от беспорядка, чтобы он жить без нее не мог. Все хозяйство было приноровлено к тому, чтобы каждая вещь нравилась мужу, и в умной голове Анны Андреевны домашняя обстановка является в тысяче комбинациях; вечно, безустанно мысль ее работает над одной и той же задачей. Анна Андреевна создалась так, что удальство, резкость, крупное остроумие, громадные физические силы, распалляющие страсти, лирические порывы из верхнего этажа вниз головою и тому подобные идеально-широко-бесшабашные атрибуты, ценные в характере мужчины для

некоторых женщин, для нее не имели никакого смысла. Она любила тишину, деньги и детей. Она решилась добыть себе мирную жизнь и вот повела многолетнюю переработку своего сожителя, и после неимоверно напряженной и тайной, неуследимой борьбы у Дорогова оказалось не то лицо, не та походка, не те вкусы, не те речи, не те друзья и знакомые, которые были прежде, — так он переменялся. Обуздали его и перевоспитали. И что удивительнее всего, во всем этом не вражда была; нет, это любовь была. Каких чудес не совершается в православной, русской жизни? Она любит своего мужа, всегда верна ему, о своих удовольствиях заботится менее, нежели о его удовольствиях; она скорее сошьет мужу шубу, нежели себе салоп, а еще скорее деньги употребит на детей. Она лелеет его, покоит, богу за него молится. Ведь Дорогов — произведение рук ее, — как же не любить ей Дорогова? Но главным образом любовь и терпение Анны Андреевны вытекали из ее положения. Любовь ее была обязательная, предписанная законом, освященная церковью и потому неизбежная. Ей нельзя было ненавидеть

мужа, иначе она погибла бы. В иных слоях общества жена мужу говорит: «Я не хочу с тобой жить» — и уезжает на вольную квартиру, а здесь об этом и думать было невозможно... Бежать?.. куда?.. А проклятие матери, которая ее не пощадила бы? а ненависть родных? а бедность? а дети? — бросить их, что ли? а страстное желание жить, как люди?.. а, наконец, сила брачных обязательств? Все так сложилось в жизни Анны Андреевны, что она поставлена была в необходимость полюбить своего мужа, и она сумела полюбить душу его, наружность, общественное положение. Для этого она отыскала в муже добрые стороны, выдумала их, оболестила себя насильно, что было возможно только при ее холодном и степенном характере. Само собою разумеется, что обязательная любовь Дороговой не могла быть страстной, романтической. Это была сдержанная, спокойная, искусственно воспитанная привязанность к законному мужу. Из этой сферы, довольно узкой и душной, никогда не порывалась Анна Андреевна. За пределами заколдованного круга она не знала ни смысла, ни свету. Ей думалось, все, что она

слышала о нравственном, изящном, святом, осуществилось наконец в ее жизни. Она была невозмутима; совесть ее спокойна; и если казалась Анна Андреевна духовному отцу, приговаривая: «грешна, батюшка, грешна», то единственно по христианскому смирению. На самом же деле она сознавала свое достоинство и считала себя безгрешною, и муж едва ли не признавал ее святою — так была безукоризненна ее репутация. Все в ней нравилось Дорогову, он видел в ней что-то аристократическое, важное, она похожа на барыню хорошего тона, что окончательно покоряло его; она хороша, умна, получила некоторое образование, любит мужа, отличная хозяйка, у нее так много детей, она так хороша с гостями, детьми, прислугой, его друзьями. В добром расположении духа Игнат Васильич, целуя свою жену, говаривал, что благоговеет перед нею. Но Игнат Васильич смутно чувствовал, что через жену стал домовитым человеком, и никогда не мог допустить и сознаться, что в его доме царствует женщина. «Я глава дома!» — думал он с непобедимою своею упорностью. Анна Андреевна о словах не спорила;

ей дорог был результат. Женщина с большими запросами от жизни объявила бы явную вражду такому мужу, как Игнат Васильич, и непременно проиграла бы, потому что он крепок был на слово и на дело; а она не проиграла, взнуздала мужа, укротила его и поехала куда хотела.

Таким образом, нужно было сто лет назад народиться Мавре Матвеевне, работать двадцать с лишним лет, добыть материальное благосостояние, потом народиться Анне Андреевне, работать над мужем тоже с лишком двадцать лет, и тогда только мог состояться тот мирный семейный вечер, который мы видели в доме Дорогова. Но и после всего этого все-таки мирные вечера нарушались здесь по самым пустым причинам, все еще счастье не было упрочено окончательно. Игнат Васильич сделался домовитым человеком, но все-таки остался Игнатом Васильичем. Много мрачного осталось в его характере. Подозревал ли он инстинктивно, что его обезличили, или в натуре русского человека, даже чиновника, гореванье и серенький взгляд на

жизнь, — что бы то ни было, но ему подчас становилось невыносимо скучно. Расположение духа Дорогова было большею частью серьезное, с оттенком строгости, грусти и задумчивости. Он мало разговаривал с детьми, отвечал им резонно, коротко и ясно; дети дичились его, любили уходить из той комнаты, где он сидел, потому что отец не терпел шума, говорили с ним тягучим, жалобным голосом. Но когда случалось, что отец позволял себе болтать и шутить с ними, дети делались свободны, карабкались к нему на колени, рылись в его бакенбардах; хохот, детский крик и визг около Игната Васильича, и наслаждается он сознанием, что у него добрая семья, и называет их канальями. Но лишь только скажет отец своим строгим голосом: «Довольно, дети!» — дети сразу оставляли его и начинали выжидать, как бы уйти из той комнаты, где сидит отец. В добром расположении духа Игнат Васильич все простит и забудет; когда же расположение сменялось, тогда толк и правда в семье становились иные: прежде умное считалось глупым, позволительное — запрещенным, часто следовало наказание, за что

прежде почти поощряли. Недоспит ли он или не поладит в департаменте, дуется ли его любимая канарейка, или много луку положено в суп, или просто пасмурный день произвел дурное впечатление, — все это у него сейчас же обнаружится на словах и на деле. Он любил сорвать на ком-нибудь гнев, причем он к жене редко придирался, к старшей дочери тоже мало, но меньшим детям приходилось плохо. В таком случае всегда следил за ним зоркий, всевидящий глаз жены. «Что, если переменится? — думала она. — Начнет бездомничать, пристрастится к клубу, к товариществу, к трактирной жизни?»

Семейная группа за круглым столом начинает расстраиваться. Мать пошла хлопотать по хозяйству; гимназист ушел в другую комнату, и другие дети посматривают, как бы улизнуть из-за стола, за которым несколько минут назад так весело было сидеть. Эти люди настолько знают друг друга, что довольно одного взгляда на отца, и они догадываются, что отец обестолковел немного.

— Поди ты прочь!.. Что тут торчишь все? — говорит отец Володе, который очень

близко сел к нему.

Володя подвинулся; потом, посидев немно-  
го, поднялся со стула и направился к двери.

— Куда? — остановил его отец.

— В ту комнату, папенька...

— Зачем?

— Так.

— Шалить?.. Сиди здесь.

Володя садится к столу с стесненным серд-  
цем.

— Зачем ногами болтаешь? — кричит ему  
отец. — Тебе говорили, что это нехорошо?

Мальчик оправляется.

— Володя! — слышно из другой комнаты.

— Вон мать зовет, поди, — говорит отец.

Володя уходит с радостью и твердым наме-  
рением избежать встречи с отцом до самого  
ужина.

Игнат Васильич сознает между тем, что по-  
пусту придирался, и в его душе является  
смесь и борение разных чувств — и грусти, и  
досады, и недовольства собою, и совестно  
ему, и сам он понять не может, что с ним де-  
лается. Все его беспокоит и раздражает, а Фе-  
дя, как нарочно, начинает скрипеть дверью,

чего отец терпеть не мог и в добром расположении духа.

— Что я тебе тысячу раз говорил, а? — спрашивает он сына.

Тот молчит.

— Говори же!

Молчит.

— Ты умеешь говорить?

Молчит.

— Я ж тебя заставлю отвечать, каналья этакая!.. Встань в угол!

Федя ни с места.

— Ну!

Мальчик, потупясь в землю, медленно по-двигается к углу.

— Стой до тех пор, — говорит отец внушительно и с расстановкою, — пока не скажешь, за что поставлен.

— Не знаю! — говорит жалобно Федя.

— Феденька! — вмешивается Надя, — скажи, что скрипел дверью, и проси у папаши прощенья.

— Не хочу, — шепчет упрямец.

— Не тронь его, Надя, — он упрям.

— Ну да, упрям!

— Молчи, каналья!

Игнат Васильич подходит к окну и начинает барабанить по стеклу пальцами. Сын опять начинает ворчать под нос себе:

— И поиграть нельзя... все запрещают... все худо...

— Вот я тебя, грубиян, не велю к тетке брать...

— И не нуждаюсь...

— Я тебе уши выдеру...

После этого Федя перестает говорить. Чувства беспокойства и недовольства собою еще выше поднимаются в душе Дорогова. Он думает о сыне: «Откуда в нем это упорство? в кого он такой уродился? Боже мой, заботишься о них, растишь, а вот какая благодарность!» На сердце его становилось горько-горько. А, очевидно, Федя уродился в него же, поддаваясь не влиянию наставлений и наказаний, а примера в поступках отца. Мальчик, видя постоянные противоречия, привык полагаться на себя и решение свое считать последним. Он инстинктивно растил свое: «мне досадно» и «мне так хочется» и редко мог воздержаться, чтобы не отвечать

на выговор отцовский заунывным тоном какую-нибудь грубость. Так во всяком семействе можно наблюдать ту силу, которая в разных его членах создает одинаковые свойства, по законам отражения от одного лица на другое.

Гимназист заглянул в комнату.

— Что ж ты не занимаешься своим делом? — спросил его отец.

— Я приготовил уроки.

— Что ж, уроки только?

— Я...

— Я, я, я! Затвердил одно!.. Экие упрямые у меня уродились, прости господи!.. На-ко вот книгу, прочитай эти пять листов... Он только для учителя готовит! — а ты для себя учись!

Отец долго говорил на эту тему, так долго, что гимназист рад-радехонек был, когда получил из отцовских рук книгу и дождался времени уйти вон. Отцу еще хуже. Он начинает ходить из угла в угол, ходит долго и тревожно, нахмурившись, как туча.

— Папаша, — говорит, глядя на пол, Федя.

— Ага! — отвечает отец злорадно. — Что? надоело в углу стоять?

Как только сказал отец «ага», Федя опять не может говорить, точно ему заперли рот на замок.

— Что ты хотел сказать?

Ничего не может сказать мальчик.

— Постой же еще! — говорит отец с упорством и злостью.

Федя хочет сказать, но не может; ему стыдно.

— Ви... но... ват! — наконец произнес он с усилием.

— В чем же ты виноват?

У Феде слезы на глазах.

— Ну, объясни толково...

— Скр... ри... пе... л, — отвечает ребенок, всхлипывая.

— Зачем ты скрипел?

— Не... зна... ю.

— Тебе запрещено было?

— Запре... ще... но...

Ребенок разрыдался.

— Слезы!.. слезы!.. — сказал с тоской Игнат Васильич. — Ох ты, господи! (Сильное удушье слышалось в этом отцовском «ох».) Ну, полно тебе, перестань, — говорил он смягченным,

но все еще суровым голосом. — Ну поди, Федя, к матери, поди к ней.

Федя постоял и помялся немного, отер кулачком слезы и потом пошел к матери.

— Дети, дети! — глубоко вздохнув, проговорил Игнат Васильич. — Ничего-то не понимают они, только отца сердят, а отец для них как вол работает...

— Вы, папаша, не волнуйтесь, — говорит Надя.

— Обуть, одеть, накормить всех надобно, выучить и к местам пристроить, а какая благодарность...

Проходит несколько мучительных минут. Дорогов хочет заняться газетой, но не может. Все его сердит и раздражает.

— Антонелли, Кавур, Виктор-Эммануил, — ворчит он, пробегая газету, — а пропадай они совсем — мне-то что до них за дело? Вот честное слово, провалились Италия сквозь землю, я и не поморщусь. (Говорит он это, а между тем вчера интересовался политикой и завтра будет интересоваться ею.) Это что? критика?.. Ну ее к бесу... (Он перевертывает лист.) Тут что? «О дороговизне квартир»... Вот чепуху-то

разводят; ничего не смыслят, а все-таки пишут. — «Пожары». (О пожарах он прочитал внимательно.) Так и есть, причина неизвестна, — сказал он, причем в его голове шевельнулись злые и довольно либеральные для его чина мысли. — «Самоубийство», — читал он далее. — Болван какой-то повесился; отодрать бы его хорошенько. (Но тут и сам он смекнул, что мертвых драть нечего.) — «Откармливание свиней»... «О мостовых»... «Несчастье от кринолина»... «Пригон скота»... — Пишите себе на здоровье! О свиньях пишет, и то гуманность упомянет; повесится какое-нибудь животное, и тут о прогрессе скажут... Литераторы!.. Экие газеты у нас!.. Эту еще почтенный и ученый человек издает, семьянин, свой дом имеет, и все-то там, говорят, живут писатели. Ну к чему ты, Надя, дала мне газету?

Дочь посмотрела на него с удивлением, потому что она не давала ему газеты.

— Зачем ты подсунула мне эту газету? О Надя, меньше читай; я тебе это не раз говорил и еще много раз буду говорить. Станешь зачитываться — забудешь добрую нравственность, потеряешь веру, уваженье к родителям

и старшим, появится вольнодумство, недовольство собою и всеми людьми... Книги ведут к размышлению... это-то и худо... покажется, что надо жить не так, как живешь, а отсюда неповиновение и разврат.

Надя молчала; ей скучно было. Отец долго бранил книги и писателей.

«Хоть бы ушел он куда-нибудь, — подумала Надя, — либо к нам навернулись бы гости».

Желание Надежды Игнатьевны было очень естественно. Когда приходили посторонние люди, хотя бы и родные, отец из приличия не позволял себе делать разных выходов, хотя бы и был не в духе, — никогда и никого не поставит в угол, не сделает выговора; разве только за углом где-нибудь, улучив удобную минуту, шепнет неприятное словцо. Один купец, который бил детей своих и плетью и палкой и за вихры таскал их, говаривал Наде: «У вас Игнат Васильич не отец, а просто добрейший человек!»

В ответ тайной мысли Нади вдруг раздался звонок в прихожей.

Боже мой, как все оживилось, забегало, по-

веселело в квартире Дорогова! Гимназист швырнул книгу на этажерку, Федя поехал верхом на отцовской палке, Надя отправилась к фортепьяно, — канарейка и та проснулась и шарахнулась в клетке; одна Анна Андреевна всегда одинаково серьезна и ровна. В воздухе точно пронеслось: «Свобода, тишина! брань миновалась! Дети, играйте, отец вас не тронет больше!» И действительно, отцовское лицо прояснело. Он заботливо осмотрелся, взял газету, только что швырнутую им, и, как будто читая, глядел в нее внимательно, а сам нетерпеливо ждал посетителя.

В комнату вошел коротенький, толстенький человек лет сорока, с крупной золотой цепью на брюшке, с багрянцем на щеках, с лысиной на голове, подвижной и бойкий, аккуратно и опрятно одетый.

— Макар Макарыч, — приветствовали его Дороговы, — добро пожаловать.

Макар Макарыч Касимов, помощник стононачальника и бухгалтер одного акционерного общества, осведомился сначала о здоровье дам, потом хозяина, наконец, малых детушек, одного из них поймал за плеча и поцело-

вал, другого погладил по голове, успел поправить светильню на свечке и снять нитку с сюртука Дорогова, сказав: «У вас ниточка», и потом вдруг утомонился и смирнехонько сел к столу.

В гостиную опять собралась вся семья; опять начался мирный семейный вечер.

— Что нового? — спросили у Макара Макарыча.

— Известно что!.. — отвечал он.

Все посмотрели на него.

— Дороговизна! — закричал Касимов и рассердился не на живот, а на смерть.

Все слушали его спокойно, зная, что это у него уж темперамент такой, что высокие ноты в его голосе не должны никого беспокоить, он сейчас же и утихнет.

— Угадайте, что просили с меня за сажень дров?

Никто не отвечал.

— Нет, вы угадайте.

Все продолжали заниматься своим делом, будучи уверены, что Макар Макарыч сам же и ответит на свой вопрос.

— Семь рублей... — сказал он язвительно,

точно дразнил всех. — Что, хорошо? нравится это вам? утешает?

Дорогова забрало наконец.

— Скажите, — отвечал он, — ах, мошенники!

— То-то и есть, мошенники!

Завязался оживленный разговор. Вспомнили те времена, когда фунт хлеба стоил грош и даже менее, перебрали, что ныне стоят свечи, сахар, мука, мыло, мясо, дрова, квартиры и т. п. Непринужденно и бойко лилась речь. Макар Макарыч выводил один за другим на свет божий поразительнейшие факты. Вся душа его кипела; он был в своей сфере и жил полной жизнью.

— Зато деньги теперь дешевле, — сказал, входя в комнату, новый гость.

— Только не для нас, — ответил запальчиво Макар Макарыч и даже не здороваясь с гостем, — не для чиновников; вы, доктора, ничего этого не понимаете.

Доктор Федор Ильич Бенедиктов был серьезный господин высокого роста, с умным лицом и в очках. Он говорил крупной октавой, точно дробью катал по туго натянутому

барабану.

Коммерческая ярость Макара Макарыча мало-помалу укротилась. Один вопрос, касавшийся насущных потребностей круга Дороговых, отошел в сторону. На очередь выступил другой вопрос.

— У Ильинских плохо, — сказал доктор, — корь у детей.

Началось общее сожаление и тревога.

Дети были любимым предметом Анны Андреевны, и вот она, будучи рада, что есть случай поговорить о них, в сотый раз рассказывала, как Федя на третьем годку снял с себя башмаки, чулки, рубашонку, побросал их за окно и остался совершенно голый; как Леша, едва научился ходить, и ушел, не замеченный никем, за двери, успел спуститься с двух лестниц и только тогда хватились его; как Сеня насыпал песку в табакерку крестной мамаше, генеральше. Она сообщила, что Надя хлеб называла — «мо», Коля — «фа», Соня — «фу-фу», а Володя — «ля». Все, что составляет жизнь детей, — когда ребенок первый раз улыбнулся, взял в ручонку какую-нибудь вещь, начал ползать, стоять, ходить, когда куплена азбука,

как определяются дети в гимназию и институты, — все это предметы душевных рассказов Анны Андреевны. Но наконец истощился запас разговоров и по этой части. Анна Андреевна не знала, чем бы занять гостей, и когда завела разговор о выкройках, в то время пришли еще гости.

Один из них был экзекутор Семен Васильевич Рогожников, любивший посмеяться над дамами, ненавидевший католиков, лютеран и ученых. Глаза его тусклы, нос кругл, щеки большие, шея короткая — живое олицетворение паралича. Другой гость был более нежели среднего роста, несколько сутуловат, плотно сложен; здоровье и крепость были видны во всей его фигуре; хорошо устроенный лоб и серые глаза обнаруживали ум; современные густые бакенбарды покрывали его щеки. Это был Егор Иваныч Молотов, архивариус одного присутственного места.

Пришедшие поздоровались.

— Макар Макарыч, — сказал Рогожников, — у нас вакансия открылась.

Все смолкло.

— Вот вашему сынишке и местечко. Дирек-

тор обещал.

Все шумно поздравляли Макара Макарыча. На сцену выдвинулся в лице Рогожникова служебный вопрос, столбовой, коренной вопрос жизни этих людей.

— Вы знаете нашего уroda-то, — говорил Рогожников о директоре, — насилу нашел удобный случай поговорить с ним.

— Как же вам удалось переговорить с этим зверем?

— А презабавный тут вышел случай у нас. Есть у нас чиновничек, Меньшов, молоденький, хорошенький, умненький, бедно, но всегда чистенько и щеголевато одевается. Этот господин, как вы думаете, какую штуку выкинул? Ни больше ни меньше, как влюбился.

— То есть как влюбился? — спросил Дорогов.

— Вот как в романах влюбляются...

— Ну, полно, — сказал Дорогов.

— Поросенок! — прибавил Макар Макарыч.

— В чиновницу влюбился, — продолжал Рогожников, — тоже бедненькую девочку. Вот наш Меньшов сам не свой, на седьмом небе,

всех своих товарищей перецеловал и на радостях сдуру разлетелся к нашему директору: «Так и так, говорит, жениться хочу».

— Ну, что же директор?

— Слушайте. Директор спрашивает его: «Сколько жалованья получаете?» — «Двенадцать рублей в месяц». — «Приданое большое?» Оказалось, никакого. «У вас есть приобретенное, родовое?» — «Нет, ваше превосходительство». — «Так это вы нищих плодить собрались? — закричал директор. — Ни за что не дам свидетельства на женитьбу!»

Меньшов растерялся, а генерал начал его поучать: «Я вас под арест посажу, лишу награды, замараю ваш формуляр. Народите детей, воспитать их не сумеете, все это будут невежды, воры, писаря, канальи! Вы хотите государство обременять! Зачем вам дети, скажите-ко? Как их вы будете растить? драть начнете, ругать каждый день, а они играть в бабки, в свайку, в орлянку, таскать гвозди из заборов, копить кости и продавать эту дрянь, чтобы добыть грош на пряники; с горем пополам научите их читать да писать, и кончится тем, что поместите их куда-нибудь в писцы, и пра-

вительство же должно будет учить их правописанию? Вот жених-то! Повернитесь-ко, я на вас в профиль погляжу... ничего, повернитесь, повернитесь!.. Ай да жених!.. Я сам, батюшка, холостой человек... отчего?.. а что я стану с детьми делать? пороть их каждый день, а с женой браниться, — а ведь этак-то нельзя, милый мой». Меньшов заплакал. «Что ж, очень хороша, что ли, ваша невеста?» — спросил директор. «Да, ваше превосходительство». — «Она с кем живет?» — «С тетенькой». — «Тетенька позволяет вам видеться, гулять вместе, оставаться вдвоем?» — «Позволяет». — «Ни за что же не дам свидетельство. Можете и так любиться. Не шуметь, молодой человек!.. Ну, я вас к награде представлю, повышу местом, только оставьте свои нелепые затеи». Меньшов целую неделю после того не являлся в должность.

— Так и не получил свидетельства? — спросили Рогожникова.

— Слушайте, что дальше будет. Недели две спустя является к нашему директору невеста Меньшова — и бух ему в ноги. Его превосходительство растерялся; он не мастер обра-

щаться с женщинами. Невеста объяснила ему свою просьбу. «А, так это вы? очень приятно познакомиться... прошу покорно садиться... Я слышал, что вы желаете вступить в законный брак... Что же, это похвальное дело. Но хорошо, что вы ко мне пришли, а то бы вы натерпелись большого горя. Ведь ваш жених Меньшов?» — «Да». — «Но ведь он негодяй первой руки, пьет страшно, грубит начальству, его скоро выгонят вон. Товарищи недавно поколотили его за кражу часов; он несколько раз сидел в полиции». Девушка едва не упала в обморок. «Ну хорошо ли вам будет, когда сделаетесь его женою? Представьте, что он будет всегда пьян, бить вас будет, наведет домой буйных товарищей, последний салопишко ваш продаст; когда выгонят его из службы, вы же будете кормить его трудами рук своих; куда бы вы ни скрылись, он вытребует вас через полицию и заставит жить вместе. Поди-ко, он рассказывает, что я запрещаю ему жениться за его бедность?.. Полноте, бедность не порок; и в бедности добрые люди живут хорошо. Я оттого не дам ему свидетельства на женитьбу, что он негодяй и что он погубит та-

кую прекрасную девицу, как вы». Директор такие ужасы наговорил невесте, что она с рыданием оставила его. Его превосходительство проводил развенчанную невесту до дверей и, когда она скрылась из глаз, сказал: «Вот теперь я посмотрю, как ты женишься!.. молоко-сос!.. нищий!.. Покажи-ко теперь невесте свой регистраторский нос, да она тебе глаза выцарапает! — Эй, кто там?» — крикнул он. В это время я подвернулся. «Скажите, кому следует, — крикнул он, — чтобы Меньшова переместили на старший оклад, там вакансия есть, и чтобы к празднику назначили ему награду». Я вижу, что его превосходительство в добром расположении духа, и потому решился просить для вашего сына вакансию, открывшуюся после Меньшова. Что же? без слова обещал.

Все порадовались за сына Макара Макарыча.

— Ну, а Меньшов что? — спросил доктор.

— Ничего, служит.

— И прекрасно сделал генерал. Беда жениться недостаточному человеку.

— Но оставаться в холостяках вот таким

людям, как Егор Иваныч, по моему мнению, непростительно.

— А помните, доктор, — отвечал Молотов, — вы обещали, что жените меня к Новому году. После того прошло уже два Новых года.

— Что ж с вами делать станешь? Сколько я вам невест предлагал, и всё были хорошие невесты. Во-первых, купчиха, образования не бог знает какого, но не безграмотна, хозяйка хорошая, из себя женщина красивая; а главное — с большими деньгами. Потом, помните Попкину? не особенно хороша она и не богата, но генеральская дочь и воспитанница княгини Чеботарево-Пробатской, а с такой протекцией, говорят, до звезд дослуживаются. Потом красавицу приискал, потом идилическую девушку, ученую, со вздохами и с горлом; наконец, очень недурненькую и очень миленькую — дочь чиновника Ломовского. Не тут-то было, ничем не угодишь! И как же отплатил, злодей, за хлопоты? «Напрасно, говорит, беспокоитесь, — по чужому выбору нельзя жениться!» Что ж, вы обрекли себя на детство?

— Нет, не обрек.

— Пообжились, устроились?

— Да.

— А лет вам сколько?

— Тридцать три.

— Деньжонки есть?

— Небольшие есть.

— Вы управляющим здешнего дома и, значит, получаете даровую квартиру и дрова?

— И это правда.

— Наконец, из департамента выдадут пособие на свадьбу. Каких еще условий недостает? С собой вы молодец, репутации отличной, здоровья железного, а невесты сотнями. Остается жениться и жить семьянином...

— И все-таки я не женился. Значит, чего-нибудь да недостает...

Разговор вдруг упал. Все стихли. Материал для речей истощился. Дороговизна, болезни, дети, служба и свадьбы — пять насущных, вечных, столбовых вопросов жизни были подвергнуты обсуждению, один за другим. Все, что было интересно для этих людей, все было сказано; дальше оставалось выдумывать, делать слова. Ангел мира и кротости

пролетел над семьей и гостями Дороговых. Гости не знали, что и делать им, зачем и дожидать этот день — от него нечего было еще ожидать, не даст он больше ни одной мысли, слова или события. Тысячи дней, прежде прожитых, давали каждый не более сегодняшнего, — значит, и от сегодняшнего нечего ожидать более. Ударило девять часов. Вдруг Макар Макарыч вывел гостей из апатии. Он в неистовстве соскочил со стула и закричал:

— Святые угодники, а пулька-то!..

Таким образом, в семейной жизни всегда есть спасение от скуки и апатии. Мужчины, кроме Молотова, отправились к картам. Скоро внесли большой самовар, и Надя занялась чаем. Клокочет вода в самоваре, слышны смех и говор детей, маятник щелкает мерно, разрушилась горящая громада в камине, изредка сотрясается рама от едущей кареты, «без двух» — слышно из зала, стучат чашки на подносе, и весело звенит ложка, опущенная в стакан.

Уже давным-давно здесь совершается такая мирная жизнь, никогда не переменяя характера своей повседневности. Люди, насла-

ждающиеся таким счастьем, думают, что они вечно будут так жить и что такую же жизнь наследуют от них внуки и правнуки, чего и желают от всего сердца. Человеку же с большими запросами от жизни думается: «О господи, не накажи меня подобным счастьем, не допусти меня успокоиться в том мирном, безмятежном пристанище, где совершается такая жизнь!»

Надежда Игнатьевна была очень хорошенькая и серьезная девушка. В лице ее, как и в характере, были некоторые черты матери, но преобладающее выражение оригинально. Она довольно высокого роста, стройно сложена; лицо чистое, белое, с легким румянцем; глаза большие, голубые, с длинными ресницами, умные и ласковые; волосы каштанового цвета свернуты в массивную косу. Горелого цвета платье, шитое самою Надею, сидело на ней ловко. Надя особенно хорошо смеялась, всегда тихо, ласково и задушевно. Ее как-то не слышать, точно нет ее в комнате. Болтать Надя не любила, выражалась коротко, спокойно, просто. Как и мать, она редко красне-

ла. Она постоянно занята, и всякое дело у ней делается легко и охотно. Со стороны весело смотреть, когда Надя шьет воротничок, разливает чай, учит грамоте сестру, читает отцу газету, кормит канарейку, поливает цветы, укачивает ребенка, приговаривая заботливо: «Ну, спи же, спи!» Все это занимает ее в высшей степени, и идеалисту досадно видеть безмятежное выражение женского лица, полное довольство своей работой и развлечениями, своим днем, своими окружающими лицами. Вообще с первого взгляду она очень походила на Анну Андреевну, так что все родные говорили: «Надя — вылитая мать». Но они ошибались. Она развивалась при других условиях и иначе.

Воспитание она получила в закрытом институте, но странны были ее отношения к учебной жизни. Она с первой же минуты, как оставила родной дом, стала ждать, скоро ли конец ученью, — только тем и дышала семь лет. К месту своего воспитания, к начальницам и наставницам, даже к подругам, по крайней мере к большинству их, Надя относилась холодно, вспоминала об ученье как о

тяжелой необходимости разлучиться с родным гнездом и прожить в огромных, казенного характера комнатах много-много времени, под надзором девствующих дам тоже казенного характера, к которым она питала положительную антипатию, за что дамы и ненавидели ее. Когда кончились семь лет и все, прощаясь, плакали навзрыд и давали клятвы вечной дружбы, Надя тоже плакала, обнимая двух подруг, которых она серьезно любила; ей как будто жалко стало детской жизни. Но это чувство быстро сменилось другим. «Домой, домой!» — думала она. В то время когда лицо ее было освещено этой радостной мыслью, одна классная дама, самая уксусная, прокислая дева, проходя мимо Нади, невольно прошептала: «Экая каменная»; а сердце у Нади не было каменное, оно трепетало от детского волнения. Вернувшись домой, она сразу легко и свободно отдалась домашней жизни. Немного переменилось в семье. Братья и сестры подросли, отец постарел немного, да Егор Иваныч не такой молоденький, каким был прежде; но и эти перемены не могли поразить ее; они совершались незаметно и на ее

глазах, потому что родные и даже Егор Ивановыч постоянно посещали ее в институте. Молотов был знаком с Надей еще тогда, когда ей был всего девятый год, а ему девятнадцатый. Егор Ивановыч, вернувшись из губернии в столицу на новую службу, не застал Нади дома, она уже училась. Он стал вместе с Дороговыми ходить к ней в гости. При нем, отчасти под его влиянием, она выросла, кончила курс и развилась. Дома Надя в первый же день увидела Егора Ивановыча. В семье Дороговых он был почти как свой; все обращались к нему запросто и бесцеремонно; он точно не гость, его не стараются занимать; иногда он возьмет газету, читает целый час, и никому нет дела до него; ходит по всем комнатам, знает, что где лежит, берет, что нужно, без спросу; с ним советуются часто отец и мать по хозяйству; когда помер маленький брат, и он был печален. Это короткое знакомство, установившееся в продолжение нескольких лет, произвело то, что Надя взглянула на Молотова будто на родного. Он будто жил с ними: то гимназист просит его объяснить по математике, то Федя — сделать петушка, то играет он с отцом в

шахматы; случается, он и люльку качнет, когда мать уходит в другую комнату, а Надя чем-нибудь занята. Этот обжившийся в их семье вечерний посетитель, как человек бывалый, любил рассказывать; говорил он хорошо, ровно, не торопясь, и чего он не знал, чего не видел, где не бывал? — о чем угодно спросите, на все есть ответ. При этой короткости знакомства Молотов, кроме того, без всякого желанья со своей стороны, приобрел в семье Дороговых положительный авторитет. Дело было после Севастопольской войны, всюду появилось новое, неведомое до тех пор движение. Но иной не поверит, что у нас есть слои общества, в которые очень смутно проникали сведения о настоящем положении вещей. В этих слоях общества понимали, что тяжело жить на свете, душно, — это само собою чувствовалось; но отчего тяжело, откуда ждать спасения, что делать надобно — этого никто не знал. И вдруг заговорили о таких предметах, осуждались такие лица, развивались системы, читались книжки, передавались рассказы о старой и современной жизни, так что многие совершенно растерялись и

не знали, что и думать. Одним из таких глухих кружков была и семья Дороговых. Много, что известно нам, читатели, по счастью, по случаю, по особому положению в обществе, по столкновению с людьми сведущими, — для Дороговых вовсе было неведомо. Люди мрака в то время испугались, люди света торжествовали, люди неведения, как Дороговы, ждали каких-то потрясающих переворотов. Тогда увлечения эти представлялись совершенно в ином свете, неже такой человек, как Молотов. Он был для них единственным человеком, который мог объяснить явления новой жизни. Его слова сбывались, и поэтому даже Игнат Васильич, несмотря на свою оригинальную манеру убеждать, привык верить ему до того, что когда Надя обращалась к нему с вопросами, на которые он не знал, что отвечать, тогда обыкновенно говаривал: «А вот спроси ужо у Егора Иваныча». Ни с кем так легко не говорилось Наде, как с Молотовым. Склад его ума, казалось Наде, так подходил к складу ее ума. У Егора Иваныча не было обыкновения поддразнивать женщину, подсмеиваться сладенько, нарочно спорить с

нею — в чем многие полагают элегантное отношение к дамам. Особенно ей нравилось в Егоре Иваныче добродушие его; она скоро заметила в нем ту черту, которая осталась в нем смолоду, — он во всем отыскивал искру божию и любил приникать к доброй стороне жизни. Надя была еще ребенок, а уже понимала, что Молотов чем-то отличается от всех окружающих ее людей, и ей хотелось разузнать этого человека короче. Молотов доставал Наде книги, объяснял их, проводил с нею вечера. В воспитании Нади осталось много пробелов. И жизнь и наука в ее учебном заведении были выдуманы, построены искусственно и фальшиво, заперты в стены институтского здания. Сквозь окна, покрашенные зеленой и желтой, больничных цветов, красками, не много она видела, хотя и справедливо, что институт дал ей образование, какого она дома не получила бы. За это образование она и была благодарна — но кому? не той или другой наставнице или учителю, а вообще месту воспитания. Надю мучила несколько совесть, что она дома редко когда вспоминала особенно тепло об институтской жизни.

Узнавши, что умерла начальница их института, Надя легко и притворно вздохнула, полагая это себе в обязанность, подала поминанье и забыла свое напрасное горе. «Неужели я в самом деле каменная?» — думала она, и с своими сомнениями она попыталась обратиться к Молотову. Молотов легко рассеял ее сомнения, показав, что ее холодность очень естественна и совсем не преступна.

Молотов из рассказов Нади и из собственных наблюдений довольно близко знал институтскую жизнь и порадовался за Надю, что она была холодна к этой жизни, хотя и не протестовала против нее с ненавистью и горькими жалобами, а даже упрекала себя в бесчувственности. Под влиянием рассказов Надиных Молотову невольно приходило в голову, что многие наши дамы давно приготовлены к эмансипации последнего предела, что их пора посылать на службу в полки и департаменты. Говорят, это не в женской натуре, а по нашему глубокому убеждению — ничего, можно! хоть в повытчики, в хожалые, на пожарную каланчу! С первого взгляда такое суждение представлялось, правда, чересчур

рискованным. Приличие, благочиние, опрятность в институте были доведены до последней степени. Например, когда учитель истории, читая лекцию, привел текст из летописи, где упоминались «поганые ляхи», то ему сделали строжайший выговор за «поганые». Он оправдывался, ссылаясь на летопись; а ему отвечали, что эта летопись дурного тона и что читать ее не следует. В видах смягчения нравов девицам позволялось петь песню «Что ты жадно глядишь на дорогу» только до слов: «Завязавши под мышки передник, перетянешь уродливо грудь; будет бить тебя муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть». Начальница была так высоконравственна, что в великом посту приказала отдельно развести кур от петухов, хотя потом и сердилась, зачем это нет к пасхе домашних яиц. Как, неужели и это Надя рассказала Молотову? Нет, это не она рассказала ему, хотя, не скроем, Надя и все ее подружки знали оный фокус благочиния и знали многие другие вещи, которые совершались у них и о которых рассказывать было крайне щекотливо. Читатель сам увидит, в чем девушка шестнадцати

лет могла быть откровенна и в чем нет. До того доходило, что когда одну десятилетнюю воспитанницу отец ее посадил к себе на колени, то со строгим замечанием, что это дурной пример другим, ему запретили делать подобные вещи. Девиц предупреждали, чтобы они не позволяли своим дядям, братьям и даже отцам целовать себя, потому что это... как бы сказать?.. ну, неприлично, что ли. Могло ли быть что-нибудь безнравственное там, где благочиние кур и петухов, каждая строка летописца и писателя русского и даже отцовский поцелуй находились под полным контролем старой девки, готовой заподозрить во всем ужасы? При всем этом в институте процветала филантропия на самых широких основаниях. Одна классная дама постоянно разыгрывала вещицы в пользу одного бедного семейства, о котором только и было известно, что ему покровительствовала сама начальница института. Билеты должны были брать учителя и девицы. Что же разыгрывалось? А вещи, жертвуемые тоже учителями и девицами. Кто их выигрывал? А выигрывали наставницы — не всё ж учителя да девицы.

Некоторые дети, и, как назло, всегда почти любимые Надею, затруднялись платить за билеты и жертвовать коврики, пресс-папье, серьги и т. п., тем более что этим расходы ребенка не ограничивались: должно было делать подарки начальнице, наставницам и другим лицам в дни именин, рождений и больших праздников. Между тем, заметьте, в том же институте, в приемном зале, набито на стену объявление, которое гласит, что родственники ни под каким видом не должны давать детям деньги или вещи для подарков кому бы то ни было. Когда принцип только на стене, поневоле в честных и добрых душах детей возникает разлад с окружающей жизнью, но большинство девиц как-то не раздражались всеми этими явлениями пошлости. Так, та же классная дама, любительница лотерей, имела обыкновение просить у своих воспитанниц денег в долг, разумеется без отдачи, и многие с радостью отдавали свои деньжонки, зная, что через это приобретают протекцию у поваляльщицы-дамы. Но беда было бедным детям или таким оригиналкам, как Надя, которая всегда сочувствовала своим безденежным по-

другам. Таких называли жадными, преследовали на каждом шагу, привязываясь к манерам, походке, голосу, взгляду, ко всякой тесемочке на платье, височку на голове, пуговке на рукаве. Их ожидали выговоры и наказания за всякую мелочь, — и какие наказания? Бурса не создавала; в бурсе — карцер, а здесь — лазарет. На провинившуюся девицу надевается рубашка сумасшедших, с рукавами вдвое длиннее против рук, после чего руки складываются крестом, а рукава завязываются под спиною, и в таком виде несчастная кладется на кровать больной. Случалось, что такому наказанию иных подвергали в продолжение пяти и более дней. В это время в пищу шла полуторакопеечная булка и габер-суп. Может ли быть что-нибудь обиднее этого? Может, и было именно в том же институте. Было немало девиц, которые постоянно протестовали против своих вторых матерей, не готовили уроков, портили рукоделья, грубили и смеялись над заведенными порядками, так что их не укрощала даже и рубашка сумасшедших. Таких протестанток отделяли в особую комнату, без различия возраста и классов, остав-

ляли их на собственный произвол, не читали для них лекций, не следили за их поведением. Отторгнутые от общества подруг, находясь в презрении у наставниц, бедняжки дичали и делались мстительны. По полугоду и более содержались некоторые таким образом. Впрочем, впоследствии этот род наказания был уничтожен, нравы смягчились, и, к удивлению, из заключенных большинство заняли первые места. Кто бы мог подумать, что девичья школа — этот рассадник поэтических существ, невинных созданий, о котором и мы имеем такие невинные, девственные понятия, — мог выработывать в себе такие оригинальные явления в жизни? Не диво, что Надя встала в стороне от этой жизни и ждала, дожидаться не могла, скоро ль настанет пора вернуться под кров родной. Родители, когда она им жаловалась, говорили ей: «Что ж делать, терпеть надо», и такие наставления, разумеется, не могли примирить ее с окружающими лицами. Она терпела, уединялась, вела себя осторожно, следила за каждым своим шагом, чтобы, избави боже, не попасть как-нибудь в рубашку сумасшедших, и ни разу она не по-

пала; но злые люди чутьем чуяли, что она боится и не любит их. «Но отчего же она с подругами не сошлась?» — спросят нас. Да как же было и сойтись, посудите сами? Замкнутость жизни, удаление от общества, отсутствие интересов общечеловеческих — создавали искусственные, фальшивые, институтские характеры. Так, здесь было развито в высшей степени так называемое обожание. Это не дружба, не каприз, не игра детей, не передразниванье старших, — это фальшивое развитие возникающей потребности любить, развитие, неизбежное в закрытом заведении, и от этой беды не спасет даже куриное благочиние и смягченные дамскою рукою летописи. Обожались учителя, посетители-гости. Случалось, что девице нравился отец, брат или другой родственник, посещавший ее подругу, и она обращала все ласки и любовь на эту подругу, если только она немного была похожа на своего гостя. Обожались, наконец, девицы мужественные лицом, высокого роста, имеющие громкий голос, твердый и отважный характер. Девица обожающая хранила на груди ленточки обожаемой, целовала

книги и тетради, к которым она прикасалась, ее целовала с наслаждением, пила оставшуюся после нее в стакане воду, писала любовные письма, назначала ей свидания на коридоре или в спальне. Если обожаемая девица не отвечала на любовь, то обожающая плакала, томилась, видимо страдала и худела. Бывали случаи, что человек по двадцати волочили за одной девицей. Страннее же всего то, что сами наставницы, спасающие куриную нравственность, сами доставляли возможность своим любимицам, большею частью дающим в долг или имеющим влиятельных родственников, видаться и говорить с обожаемыми учителями. Вот в этот-то период обожания многие из девиц, желая казаться интересными, — а некоторые по какому-то болезненному расположению организма, — ели мел и уголь, пили уксус и чернила, сосали штукатурку, кирпичные кусочки и грифеля... Во всем этом было очень мало божественного, неземного и очень много так называемого исключительно институтского, созданного почти отрешенною от общества жизнью. И сколько из этого рассадника невинных созда-

ний выходило бледненьких, тоненьких, дохленьких барышень, с синими жилками, выражающими ненужное страдание, от чего они становятся так обидно для них жалкими. Между тем многих ожидала суровая, необеспеченная жизнь, и всех — иная действительность; а их окружала деланая, фальшивая среда. Надя, вообще развивавшаяся медленно, еще не чувствовала потребности любить и потому не была в положении своих подруг, которые, не находя правильного исхода чувству в запертом наглухо институте, на глазах девственных воспитательниц выделывали все вышеозначенные штуки учебного амура; но она все понимала, хотя сам читатель догадается, что она могла рассказать Молотову и что не могла. Но Молотов и без ее рассказов знал, что она умалчивала. Он легко успокоил ее тревожную совесть, и она через полгода забыла свой институт — точно и не жила в нем.

Но период непонятных стремлений, туманных мечтаний и волнений в той или другой форме развивается в жизни всякого человека. Если не испытала этого Надя в школе, то испытала дома. Но многим семнадцатый год

Нади покажется непоэтичным, хотя и с примесью даже институтского элемента, только в более изящной форме. Она, задумываясь по-детски о будущем, слегка мечтала и о женихе; жениха она представляла чем-то вроде папаша, разумеется, помоложе; задумывалась она тогда ненадолго. Когда Надя подросла, у нее стал формироваться более определенный образ жениха, о котором она часто думала и за шитьем, и читая газету, и лежа в постели: то был чиновник, молодой, добрый, любящий свою жену и дом, получающий большое жалованье и хороший хозяин. По ночам и за шитьем этот образ выяснился — он имел рост и звук голоса, с ним часто разговаривала Надя, и у нее вышло две жизни — одна действительная, другая мечтательная, — обе жизни были полны. В мечтательной жизни, которой она отдавала большую долю своего существования, у нее было свое хозяйство, свой муж, даже о детях она думала, — тогда-то вдруг вспыхивало ее лицо и становилось задумчиво; у ней свои гости, она принимает их, разговаривает с ними, просит садиться, играет для них на фортепьяно, готовит им чай и закуску.

Иногда думается ей: «Вот муж захворал», а не то: «Крест получил». Какая девица, играя мыслью, не была прежде брака замужем? Но так играют дети, венчают друг друга и поют: «Исайе, ликуй!..» Скоро и незаметно наступила другая пора жизни, пора полного расцветания. Стала она рассеянее, ее грудь наливалась, появились непонятные сны и после них тайные слезы, по девичьей душе прошли неведомые доселе движения, разрешавшиеся бог весть откуда родившимся вздохом. Она что-то разлюбила свое фантастическое хозяйство. Когда выдуманный муж являлся в ее воображении, она прогоняла его, и муж, вместе с хозяйством, чаями и гостями, стал являться реже и реже и, наконец, совсем скрылся где-то этот надоевший и опротивевший образ. Поневоле вспомнила Надя подруг — неужели и она обожала? Ей хотелось целовать канарейку, цветы, мраморные статуэтки и картины... Тревога пришла и кипучая жизнь... Боже, как она любила, как страстно любила, и сама того не зная... Кого же?.. Непременно — кого?.. просто любила!.. Полная и действительная любовь, с поцелуями, объятьями,

клятвами, со всем счастьем и горем, бывает для избранных, а неизбранные что-то во сне видят похожее на объятия и поцелуи, а наяву чувствуют лишь жар жизни и широту души. Для многих любовь проходит этим внутренним путем, помимо мужчин, женихов и мужа. К ней кто-то ходил по ночам, стоял в ее изголовье, и, вставая, она плакала и счастлива была несказанно. Сумерками долго она сидела в зале, сложив руки, глядя на улицу и ничего не делая. Трудно понять было, как этой девушке не скучно. Наде же казалось, что вдруг все как-то особенно и без видимой причины полюбили ее; примечала она надолго остановившийся на ней взгляд матери, отец стал целовать ее чаще, дети около нее увивались. «А Коля где?» — однажды она спросила маленьких братьев и сестер, и так хорошо, ласково, задумчиво спросила, что дети кинулись к ней на шею, стали ее целовать, она их целовала и весь вечер тот пропела... Все существо девушки было ясно, чисто и счастливо... Прошло еще немного времени. Мало-помалу горячая жизнь стала остывать, струны, высоко натянутые, упали, показа-

лось, что все стали холодны к ней, появилось дурное расположение духа, какая-то темная мысль кралась в сердце. Она затосковала беспричинно, но не плакала больше. Мать первая поняла, что нужно было Наде. Скоро в доме Дороговых появился чиновник и предложил Наде руку. Это был чиновник молодой еще, с крестом, получал хорошее жалованье и водки пил мало — рюмку перед обедом и две рюмки перед ужином. «Маменька, я не пойду за него», — сказала Надя. Мать долго уговаривала ее, доказывая все выгоды предстоящего брака; а дочь упростила отца, и Игнат Васильич решился отказать жениху. «Помни, Надя, тебе скоро будет осьмнадцать лет», — сказала Анна Андреевна. Бог знает с чего брак показался Надежде Игнатьевне какой-то службой, долгом, поденщиной, точно опять отдавали ее в институт. Она усердно молилась богу, чтобы хоть на время отдалить брак... Началось усиленное чтение. Она читала большею частью романы и повести, из которых в институте слышала одни невинные отрывки. Лицо ее горело от свободных, поэтических страниц; все, что есть у нас лучшего,

прочитала она в это время; Тургенев сделался ее любимым поэтом. Многие страницы, один раз прочитанные, с того времени остались в ее памяти навсегда... Хорошо читается в эти годы, и славное это время!.. Ясное, свободное счастье горело на ее лице, когда она, сидя за шитьем, увлекалась бессознательно и повторяла в воображении чудные картины природы и любви, созданные нашими поэтами! Если в действительности нашей многим не приходится любить — запрещено либо не удастся — и в грядущем предвидится лишь обязательная любовь, то пусть эти многие хоть над книгами поживут — и задумаются, и поплачут, и улыбнутся счастливо. Иначе скучно жить на свете; одной прозой прожить невозможно... Но проза неизбежна... Часто лицо Нади над самой пламенной страницей переменило выражение, становилось совсем другое. Оно показывало, что Надя соображает, рассчитывает что-то и обдумывает; и действительно, в одну из таких минут она поняла... она поняла, что такое хлеб насущный, что родители хотя и любят ее, особенно, как казалось ей, отец, но не век же им кормить

ее, пора искать Наде брачной жизни, как чиновник ищет места, лошадь — корму... Мерзко стало на душе ее и страшно. Книга была закрыта, и на обложку легла дрожащая от волнения рука... Она не заплакала... Что-то суровое и холодное отразилось в ее глазах. Она встала с нервным движением, глубоко вздохнула, взяла книгу и надолго положила ее в комод... Поняла наконец, кто она такая... Как в то время она боялась женихов, как их ненавидела!.. Всякий раз, когда появлялся в доме незнакомый мужчина, Надя думала с замирающим сердцем: «Не он ли?» — и прибирала в голове слова, которыми она станет упрашивать отца и мать, чтобы они не торопились пока с замужеством ее... Через полгода жених явился, и Надя едва не вышла замуж, — так ей трудно было уговорить и мать и отца, который теперь не держал ее сторону. Больших слез и упрасиваний стоил Наде этот отказ, но все-таки она отделалась от жениха, хотя и чувствовала с стесненным сердцем, что может прийти третий, четвертый, что много их на свете и что раз от разу ей труднее будет выпроваживать их. Чего же она ждала? не в

девах же она хочет остаться? Она сама не знала, чего хотела; но натура ее была так чиста, что инстинктивно она берегла сердце для того, кого любит, а не для первого встречного, рекомендованного отцом. Она не родилась для обязательной любви... Опять потянулось время среди занятий домашних, но теперь как-то скучно и вяло, день за днем, по-черепашьи... Не было ни радостей, ни печалей. Надя стала удаляться отца и матери; сидя с ними же, сделалась особняком. Ее никто не упрекает, по-прежнему с ней ласковы, сама мать заботится о ее здоровье и удовольствиях; но скажут ли, что ныне все дорого стало, дети подрастают, или что у Лены Рогожниковой, Саши Касимовой женихи есть, так и подумается Надежде Игнатьевне, что ей пора искать корму, пора! В таких случаях ей никто и ничего не намекал, она это хорошо знала, да из самой жизни вытекал такой, а не иной смысл. Гостю делалось с ней скучно. И говорит, и хозяйничает, и потчует Надя, как всегда; как всегда, ласкова и внимательна, а все что-то не то, скучно, души нет... Она опять вернулась к книгам. Но чтение уже не давало

ей, как в былые дни, страстного наслаждения книгою. Она критически стала относиться к каждому образу, к каждому положению действующего лица. Жалко было смотреть на нее, когда она с сомнительной усмешкой про- бегала те живые строки, которые прежде так увлекали ее. Ни с кем она не была откровенна; лишь с одним Егором Иванычем она говорила о том, о чем с другими говорить не решалась, ждала его всегда с нетерпением и, когда он не приходил, была особенно скучна и задумчива. Даже в те вечера, когда Егор Иваныч не успевал перемолвить с нею слова, она все-таки была довольна его присутствием, чувствовала что-то успокаивающее при взгляде на него. Если же он говорил с Надей, она в речах его почерпала непонятную для нее силу. Никто ей так дорог не был, как он. Нравственная связь с окружающими родными была надорвана, а знакомых было мало, да и тем она не доверялась. Надя была уверена, что, случись с ней какое-нибудь большое горе, Молотов всегда поможет ей; случись, что она сделает дело, за которое ее все осудят, он ее не осудит, и если бы даже должно осу-

дить, то пожалеет и помилует. Добрее и умнее Егора Иваныча она никого не знала. Положение ее было окрепощено условиями, которые не давали ей взглянуть на то, как живут люди за стенами родного дома; один только Молотов мог рассказать ей о иной жизни, — и вот это не институт, не старорусский терем, а заколдованный семейный круг столичного чиновника! Это тот же терем, только нынешнего времени. Отчего ж не петь и до сих пор: «Я у батюшки в терему, в терему, я у матушки высоко, высоко»?.. Но и с Молотовым, что очень естественно, Надя вполне откровенна еще ни разу не была. Разговор всегда заводился о предметах, только побочно, а не прямо относящихся к ее тайным мыслям. Все, что говорил Молотов, служило для нее только данными, на основании которых она сама выясняла и проверяла свои скрытые в душе думы, и потому в разговорах ее всегда было более содержания и серьезного смысла, нежели сколько казалось с первого взгляда. Такое искусство говорить невольно приобретает в тех обществах, где запрещается многое обсуживать ясно, просто и открыто. Но эта

сдержанность, робость высказаться, напрасная стыдливость понемногу ослаблялись; откровенное слово само собою рождалось, когда обстоятельства заставляли Надю искать решения того или другого вопроса. Молотов чувствовал, что Надя недоговаривает, что у ней есть дума, которая томит, беспокоит, стесняет ее молодую жизнь. Он не посягал на откровенность Нади, но день ото дня хотелось ему узнать, что такое делается с ней, и день ото дня хотелось Наде узнать, что такое за человек Егор Иваныч. Он так, казалось ей, не похож на других. Когда она была еще маленькая, пришел откуда-то и стал почти жить с ними этот вечерний посетитель. Ей хотелось разгадать и добродушие его, и ласковую насмешливость над увлечением, и его многостороннее знание. Она думала, что в жизни он знает бесконечно много такого, о чем с ней никогда не говорил, думая, что она не поймет его, и как ей хотелось расспросить обо всем, обо всем на свете, чтобы догадаться, додуматься наконец, что же ей делать и как жить на свете. В последнее время в Наде стало развиваться религиозное направление. Долгие

разговоры вела она по этому предмету и через несколько времени почувствовала, что под влиянием Молотова просветлела ее вера, легче стало ее сердцу, когда оно, еще неиспорченное, легко освободилось от многих предрассудков; но Надя спрашивала себя: «Верует ли он?» — ответа не было. Надя не знала, как в нынешний век веруют люди, и в этом отношении Молотов так был непохож на всех, кого она знала.. Один только Череванин, художник, выделялся из их круга, но он редко посещал их. Несколько раз Надя порывалась поговорить с Молотовым о женихах, любви и браке, но всякий раз что-то ее сдерживало. Так и плелись дни за днями, без всяких внешних событий, «в терему да в терему», куда едва проникал жизненный луч света, пока не наступил Наде двадцатый год.

Молотову надо было побывать у художника Михаила Михайлыча Череванина, родственника Дороговых. Егор Иваныч часто бывал на Песках, где жил Череванин, и потому Игнат Васильич просил Молотова зайти к нему и спросить, не поправит ли он портрет

Дорогова; Молотов все забывал о поручении и вот однажды вечером, чтобы исполнить его наконец, отправился к художнику.

— У нас здесь большое декольте, — говорил Михаил Михайлыч Череванин, вводя Молотова в свою комнату.

Молотов огляделся. Довольно большая комната была освещена сальными свечами. Стояли мольберты, станки, манкены, палитры; окна были без занавесей и заставлены картонами; на окнах стояли горшки дряннейших ржавых гераниумов, покрытых копотью и пылью; тут же, между горшками, валялась оставшаяся от чаю булка, кусок колбасы в бумаге, медная сдача, кисти и табачные окурки.

У Череванина был праздник. В гостях у него было человек двенадцать, все почти молодежь, только один пожилой офицер с заливчатской физиономией и еще старичок, тоже художник. В воздухе плыли табачные облака; в стаканах дымился пунш. В то время как в других углах столицы совершалась тихая жизнь, здесь молодежь проводит буйно время.

— У нас большое декольте, — повторил

Михаил Михайлыч. — Не хочешь ли пуншу?

— Не хочу.

— Твоя воля.

— Как гадко у тебя!

— Ну, ну! — отвечал художник.

— Ведь ты свой талант губишь.

— Что ж делать, братец, органический порок.

Череванин был товарищем Молотова в продолжение двух курсов университетских. Он был сын профессора семинарии, женатого на родственнице Дорогова, и приходился Игнату Васильичу чем-то вроде племянника. Он был человек странный, оригинал, талантливый человек, добрая душа и по временам сильно поклонялся Дионису. Но в его фигуре широкого размера не выражалось древлеславянской удали; напротив, видно было что-то печальное, слабость видна была, хотя всякий, взглянув на него, сразу поймет, что у него организм железный, выносливый. Причесывает его сама мать-природа, и она, любя разнообразие, отправила один клочок волос за ухо, а другой повесила на щеку, на темени приподняла вихор, пробор перепутала, не завила в

волосах ни одного колечка, а оставила их прямыми, как нити, не напомадила их, а приправила пухом, редко побуждала его бриться, не берегла платья от пыли и пятен... И работа его не отличалась тщательной отделкой, как и наружность, как и манера выражаться, как и все, ему принадлежащее. Краски ложились у него ключьями. Он не рисует попеременно волоса, лоб, глаза, уши и т. д., начиная верхним волоском лица и кончая последней чертой подбородка. Вот он оживился, схватывает черту на щеке, но вдруг кисть его переносится и лепит под глазами, потом удачный взмах определит характер губ; он чертит зря, смело, уверенно, твердо; ошибется, так трудно поправить. Не умеет он изображать идеальную красоту, не увидите у него Аполлонов Бельведерских и Венер Медицейских, но у него встречаются удивительно верно выхваченные из жизни типы. Он имел золотую медаль за картину в роде жанр и не дорожил той медалью. Было время, когда Череванин с любовью занимался своим делом; его одобряли друзья, товарищи и учителя, но не был сам он убежден в своем таланте, и тогда это сильно

волновало его. «Что, если я простой маляр? — думал он. — Что, если придется бросить кисть, вместо ее взять в руки перо чиновника, а мастерскую променять на канцелярию?» Но он давно уверен, что имеет талант — не великий, но довольно крупный; и — непонятно — с той поры самый талант стал представляться ему достоинством невеликим. Череванин удивлялся, отчего это другие не могут рисовать, как он: не хотят, а рисовать — просто, — и с странным презрением художник относился к своему искусству. Ему не жалко было продавать свои картины. Картина становилась ему противна, лишь он успевал закончить ее. «Ведь всякую черту знаю на память!» — говорил он. Но были картины, проданные Череваниным, которые были для него дороже других: головка девушки, деревенское кладбище, семейная группа, сон нищей и др. К этим любимцам он иногда ходил в гости; придет к владельцу и просит посмотреть на картину, пробудет с ней около часу и опять уйдет на год или на два. Раз он собрался сделать копии с своих любимцев, но не ужился с ними и месяца, — живо они перешли в чужие

руки. Ни к чему он не мог надолго привязаться — были ли то люди, избранные книги, произведения его искусства или простые вещи. Он был два раза влюблен. Первый раз за три дня до свадьбы невеста изменила ему. Он сильно страдал и с горя ходил на мост, чтобы погребсти в Неве свое грешное тело, но кончил тем, что нарисовал на свою невесту карикатуру; впрочем, с тех пор он особенно коротко сошелся с Дионисом. Другой раз он увлекся «погибшим, но милым созданием». Это была очень миленькая девушка, но тоже надула его. На этот раз Череванин не лез на стены, не думал топиться, но предпринял оригинальную меру, чтобы отделаться от тоски. Вставши поутру, он выходил на улицу, отправлялся куда глаза глядят, ходил до истощения сил и, вернувшись домой, страшно измученный физически, бросался на постель и засыпал. Проснувшись ночью, он опять отправлялся в поход с единственной целью измучить себя; вставал он в полдень и принимался за то же самое. Через две недели, после таких прогулок, с него как рукой сняло. Впрочем, хотя горевать он перестал и говорил с тех пор: «Ле-

карство от любви — моцион», но эти две неудачи сильно подействовали на его характер. Он получил склонность к цинизму и отрицанию жизни, что, впрочем, лежало в его натуре. Стал он перебираться с квартиры на квартиру и нигде не уживался. Сначала он занял отличную модную мастерскую, хорошо меблированную; она вся была заставлена портретами его работы. В это время он вел себя джентльменом. Но не прошло и полгода, как ему захотелось идиллии, и он поселился на хлебах у одного семьянина, нанимая две простеньких, но чистеньких комнатки; около его постоянно дети, цветы, чижи в клетке, старуха в углу вяжет чулок, и окружают его уже не портреты, а вполне оригинальные произведения. Через год ему надоели и новый быт, и люди, и картины, и вот мы застаем его на Песках, в неопрятной квартире. Теперь он кутил, был грязен, говорил грубо, и дико-дико было в его комнатах, освещенных сальными свечами, где среди манкенов молодежь совершала оргию. С переменною людей, обстановки и работы и при наступлении периодического чествования Диониса ярко об-

наружился его крупный, резкими чертами одаренный характер.

— Органический порок, милый человек! — повторил Череванин.

Молотов чем более вглядывался в окружающую обстановку, тем в большей дикости и нелепости она представлялась ему. Он с изумлением заметил в компании двух молодых людей, одного — сына Рогожникова, а другого — Касимова.

«Эти как попали сюда? — подумал он. — Что их гонит из дому? разве там не спокойно, не мило, нет жизни и свободы? Недостаток эстетического чувства, грубость и одичалость характера заставляют человека не любить ровную, тихую, полную глубокого смысла семейную жизнь».

— Не стыдно тебе, — сказал он Михаилу Михайлычу, — ведь ты губишь молодой народ...

— Без меня хороши! Ты лучше посмотри да послушай, что здесь за народ, — это занимательно и поучительно. Отличные этюды встречаются. Тут собрались дивные ребята, все любят отечество, искусство, науку и вод-

ку, — больше ничего не любят!.. Пейте, господа! — крикнул Череванин как-то вяло.

— Следует, — ответили ему.

— Хоть бы ты вымылся, — сказал ему кто-то.

— Медведь не моется, да все его боятся, — отвечал художник.

Пошло страшное попойще; начались песни, хохот, остроты, пошло пенное, пошло пуншевое, пошло пивное.

— Что ты делаешь?

— Всё пустяки в сравнении с вечностью!.. Как что делаешь? Мы вопросы современные решаем... Слушай, вон в углу кричит: ты думаешь, тут что-нибудь спроста? Нет, это он о Суэзском перешейке валяет! — не слышно что, да и так можно догадаться, что околесную несет. Прислушайся теперь к речам в другом углу — там решают влияние французского кабинета на дела Азии. А посмотри-ко на того парня, который соскочил с дивана, точно его по шее треснули. О, бедняга, как он худощав и бесконечно длинен, поднял костлявые руки, кричит, вопит и распинается, а за что?

— Гегель и прогресс!.. Гегель и прогресс! —

кричал длинный господин.

— Это всё любители просвещения, жрецы, братец ты мой.

— Черт знает как скучно дома! — говорил Касимов. — Что за пошлая, телячья жизнь! Ни о чем не услышишь живого слова, бог знает о чем толкуют с утра до вечера, просто невыносимо!.. А какая чистота нравов! Знаете ли, что у меня есть тетушка сорока пяти лет, которой группы, выставленные на Аничкинском мосту, кажутся безнравственными? Она не может смотреть на тело человека, ей совестно. В сорок-то пять лет ее соблазняет болван-композиция!..

Молотов не мог не улыбнуться.

— Выпьем еще! — слышно в углу.

— Выпьем!

— Поцелуемся, дружище!

— Поцелуемся!

— Тебе, что ли, ходить? — говорит один из играющих в шашки.

— Сходим, сходим!

— Кто, господа, идет со мной «в ту страну, где апельсин растет»?

— Подожди, еще рано...

— Так песню, господа!

И затягивают «Вниз по матушке по Волге, по широкому раздолью». После этой песни следовала патриотическая, известная всем молодым людям столицы. Поднялся шум, и грохот, и ярые возгласы.

— Россия на ложной дороге! — кричал какой-то политик.

— Вы с Англии пример берите, — перебил его другой голос...

— Нет, в Германию, в страну философии, — начал было гегелист...

— Пошел ты к черту! — перебили его другие. — В Германию, страну колбасников? Да им все морды побить надо! Германия — огромная портерная в Европе...

— А Россия — кабак.

— Да ты сам пьян!

— Что ж из этого?

— А если хочешь быть последователен, убирайся к черту с Гегелем!

— Нет, вся наша надежда на мужика, на простолюдина. Освободите мужика, он пойдет шагать!

— А до тех пор что будем делать?

— Ничего!

— Ну, и на здоровье.

— Слова прошу, — закричал офицер с захватской физиономией, — послушайте слова опытного человека! Молчите и внимайте.

Все стихло.

— Я предлагаю, господа, устроить сейчас же общими силами скандалиссимус!

— Какой, какой?

— Переломать кости первому встречному.

— Да за что же?

— Здорово живешь!

Скандалиссимус был отвергнут большинством голосов.

Молотов с изумлением смотрел на окружающие его лица и слушал их ярые речи.

— Что это у тебя творится? — спросил он Михаила Михайлыча.

— Будто не понимаешь?

— Ничего не понимаю.

— Здесь совершается великая тайна акклиматизации европейского прогресса, включительно до скандалиссимуса... Я тебе говорил, что мы решаем современные вопросы. Мы не аскеты, не люди старого закала; здесь нет ни

одного человека, который бы из прогресса создал пугало нравственное и отрекся бы от него, как от сатаны. Здесь процветают широкие нравы.

— Что же будет с этими людьми после, когда пройдет время разгула, перегорит человек, переломаются его кости и испортится кровь?

— Вон ты куда хватил!

— Ведь потянет же их когда-нибудь из этого бешеного круга, жизнь заставит взглянуть на себя серьезнее, — что тогда будет с их убеждениями?

— С какими?

— Да вот которые они проповедают.

— Это разве убеждения?

— Что же?

— Просто дурь на себя напустили. Горло драть хочется, ну и дерут. Им бы только посутиться, побыть в массе, покричать, а покажи только розгу, так сейчас: «Ай, маменька, не буду!» Предложи любому чин регистратора, сейчас и убеждения побоку, и еще будет потом говорить, что его пошлая действительность задавила, среда заела, — а какая среда?

натуришка гнилая! Идеалы их книжные, и поверх натуры идеалы плавают, как масло на воде. Ничего не выйдет из них. Квасные либералы... Хотя бы пару мужиков научили грамоте, а то даже и говорить-то не умеют, убедить никого не могут... Пей, ребята! — крикнул Череванин.

Молотов пожал плечами.

— Зачем же ты собираешь их около себя?

— Разве не видишь, что веселенький пейзажик выходит? Надо же чем-нибудь утешать себя.

Молотов опять пожал плечами.

— Михаил Михайлыч, — сказал Касимов, подходя к нему. — А, Егор Иваныч, — сказал он, — извините, я вас и не заметил в дыму.

Поздоровались.

— Что вам угодно? — спросил Череванин.

— Я хочу идти в художники...

— Так что же?

— Как посоветуете?

— Ступайте.

— Ей-богу, ничего не может быть лучше жизни художника: свобода, вино, женщины и друзья!

— И картины... — прибавил Череванин.

— Только не знаю, есть ли у меня талант.

— Все же будете принадлежать к числу художников, и у вас будет свобода, вино, женщины и друзья...

Касимова отозвали пирующие.

— Веришь ли, что я из этого господина могу сделать хоть сейчас краскотера? И все они таковы: это люди подражательные, юноши без всякого содержания. Он как родился не потому, что хотел того, а пожелали мамаша с папашей, так и все потом делал, потому что люди это делают. Между тем Касимов умеет острить, как ты слышал, но всегда впадает в чужой тон; вообще он неглуп, у него есть ум, но не свой. Смолоду такие люди всегда подают надежды. У них ничего нет за душой, кроме впечатлительности. Поживши с угрюмым человеком, Касимов совсем отвык от улыбки; с рыцарями — он рыцарь, с франтами — франт, среди ученых корчит глубокомысленную рожу. Однажды он вздумал идти в монахи, потому что наслушался какого-то старика о разращении рода человеческого; а через месяц он уже был отчаянным франтом. За-

клятый ненавистник брака, пока холост, а женится — попадет под башмак жены. Человек с небольшим характером и какой-нибудь оригинальной выправкой может заставить их сапоги себе чистить. Противно смотреть на них, так они льнут в глаза и точно в губы поцеловать хотят. Словом, народ сопливый. Он всегда находится под влиянием последней прочитанной статейки. Сегодня он кричит: «Индейцы англичан раскатали»; завтра: «Гумбольд умер»; послезавтра: «Прочитайте «Манон Леско», очень развратная книжка», — и нигде ничего не понимает, всегда с чужого голоса поет. Когда пошла обличительная литература, тогда он с благоговейным страхом говорил: «Вот отчаянные-то головы!.. что пишут!.. и не боятся!» Попавшись за увлечения впросак, он вдруг хвост опускает, робеет и, не зная, что делать, иногда плачет и богу молится, не понимая, что ж это за напасть на него. Когда же их поймают в минуту растерянности и станут стыдить, то они без зазрения совести умеют напустить на себя рысь дурака: «Эх, господа, полно смеяться, я сам знаю, что я глуп; что ж делать, если бог ума не дал», — и

врет, каналья: он вовсе не глуп, а просто не хочет шевельнуть мозгами, разобраться, наконец, во что он верит и не верит. Вот я и потешаюсь. Надоедят, запру двери, и делу конец.

— И тебе не жалко их?

— А тебе жалко? Мне смешно, но это одно и то же: одинаково оскорбительно для человека. Жаль, нет здесь одного господина, который пописывает статейки. Вот забавник-то! «Как это вы пишете обличительные очерки?» — спросил я его однажды, и что же? — он сознался: «Откроешь, говорит, Свод законов, прочитаешь статьи, нарушишь их и припишешь это какому-нибудь чиновнику... при этом обстановочка маленькая, современный дух... ну, и ничего, платят за это деньги, все же на табак годится». Смешно ли это или жалко, я разности большой в том и другом случае не вижу.

— Ну, а сам-то ты что?

— А я, может быть, еще хуже их. Эх, Егор Иваныч, пойдём отсюда вон... Опротивело.

— Пойдем, — отвечал Молотов, — только как же, гости-то?

— Вон там старичок есть, распорядится.  
Молотов и Череванин ушли.

— Куда ж мы отправимся? — спросил Молотов, когда они вышли на улицу.

— Куда глаза глядят; пойдём хоть на Невский.

Молотов согласился.

— Не понимаю я... — проговорил Молотов.

— Чего, милый человек?

— Скоро ли у нас кончится это вечное гореванье, никому не нужная тоска, мрачный взгляд на жизнь, доморощенная байроновщина.

— Доморощенная — это верно сказано, Егор Иваныч.

Прошли несколько молча.

— Мало ли чего ты не понимаешь, милый человек, — начал Череванин. — Век живи, век учись, а дураком помрешь. Скажи ты, добрая душа, куда мне девать свои досуги? Сидишь-сидишь, и такая тоска заберет, что и сам не заметишь, как очутишься в портерной или трактирном заведении. Я уверен, что ты не согласишься ничего в вине, а ты вообрази се-

бе, как выпьешь, вдруг огни потекут по телу, грудь вздохнет широко, вот она, жизнь-то, начинается!.. Прекрасная погода, отличная газета, чудная водка!.. думы и печали далеко летят. И хмель не заснет в тебе; он ходит, растет и разрастается... в голове туман, в крови жар... петь хочется, плакать и целовать всех... Вот это не мечта, а жизнь... я ее чувствую, едва не ощущаю руками... Понял, милый человек?.. И пойдут писать дубы еловые, дубы сосновые, дубы липовые!..

— Плохо, если они пойдут писать...

— Пожалуй, что и плохо...

— Зачем же ты это делаешь?

— Потому что мне нравится.

— В наше время стыдно пить...

— Это отчего? Если будешь пить, так от века отстанешь, что ли? Полно, меня ведь не надуешь. Век вырабатывает не только такие натуры, как твоя, но и такие, как моя. Ты не найдешь ни одного человека, который жил бы так, как жили в прошлом столетии, да и такого не найдешь, чтобы сегодня по-вчерашнему: то же самое делает, но иначе, в другой форме и по другим причинам. Кто ж отстаёт

от века? Ни для кого солнце не остановится. Сменяющиеся в жизни обстоятельства, лишь коснутся человека, непременно имеют на него влияние, и тут хочешь не хочешь, а от века не отстанешь. Рутинеров ведь нет на свете, милый человек; их добрые и умные люди выдумали. Покажи-ко ты мне хоть одного отсталого человека.

— Все приверженцы старины, — отвечал с удивлением Молотов, — отсталые люди.

— Старину копнул!.. Ведь ее тот же век произвел, нам современный... Этой старины никогда еще не бывало, она новая старина... Если бы деды пришли да посмотрели на эту старину, они не узнали бы ее, стали бы отплеиваться и отрециваться от нее. Эту старину только в нынешний век и найдешь... Какая же она старина? Она тоже новость, продукт современной жизни, последнего часа, настоящей минуты... И выходит — пустое слово, которых так много на свете, диалектический фокус!.. Кто же отстал от века?..

— Но есть же новые люди и новая жизнь?

— Вона?!.. кто ж этого не знал? Ведь все ныне живущие люди родились в наш век, а

не из могил вышли, не с того света воротились, и все живут новой жизнью. Например, доселе никто еще не жил, как я живу; ни у кого еще не было такого взгляда на жизнь, как у меня. Если ты о пьянстве говоришь, так что же? И оно не старинное, а новое, прогрессивное...

— С тобой не стоворишь... Ну, отчего ты не пристал к лучшим людям?

— Лучшие люди?.. лучшая жизнь?.. вот оно что!.. Значит, ты согласен в том, что я новый человек; я в то же время и лучший человек.

Егор Иваныч засмеялся...

— Смейся, добрая душа, смейся; но ты опять сказал пустое слово... Лучших людей нет на свете; один худ, а другой лучше, а третий еще лучше; и наоборот, один хорош, другой хуже, а третий еще хуже, — так без конца и без начала. Только самого худого не отыщешь и самого лучшего не отыщешь. Все лучшие и худшие.

— Однако ж одни хуже, а другие лучше...

— И этого нет.

— А ты хорош?

— Нет.

— Так худ?

— И не худ.

— Что же это такое?

— Я, как и все люди, без достоинств и недостатков. По-твоему, роза хороша, а крапива худа, а по-моему, обе хороши или, если угодно, обе худы, а вернее — ни хороши, ни худы, обе — произведение почвы... Ни хвалить, ни бранить их не за что.

— И тебя вырастила почва?

— А то что же?

— Это называется, среда заела?

— А вот и не заела!.. Среда?.. заела?.. Новые пустые слова. Я просто продукт своей почвы, цветок, пойми ты это.

— То есть и не животное даже, а ниже животного, растение.

— Растение несколько не ниже животного и не выше.

— Значит, никто не виноват в твоей жизни, жаловаться не на кого?

— Еще пустое слово!.. Виноват?.. Разве виновата крапива, что ее вырастила почва? Виноватых и невинных нет на свете. Разве я виноват, что родился? Меня не спрашивали, же-

лаю ли я явиться на свет; разве я виноват в том, что умру? не виноват же и в том, что живу!.. Всё пустые слова!.. Один чудака приходит к другому: «Ты подлец», — говорит ему; а тот струсит: «Что ж, говорит, делать, обстоятельство»; первому станет жалко, он и давай утешать его: «Ну, ну, успокойся, ничего, это тебя среда заела». Вечное пустословие! Обвиняют среду, ну — и бить бы ее или гуманные какие средства предпринять. Не тут-то было: оказывается, все заедены... вот тебе и раз!..

— Так ты никого не обвиняешь?

— Смолоду была глупость; ругался на чем свет стоит, благородно и со злостью, винил людей в своем характере, да вовремя смекнул, что и они, в свою очередь, будут винить других людей, которые их испортили, и выйдет чепуха неисходная!.. Нет, никого не обвиняю...

— Это шаг вперед, Михаил Михайлыч.

— Ах, милый человек, разумеется, вперед, а не назад... Иначе и нельзя... Если бы у меня на месте лица затылок был... Да нет, и тогда бы затылком, а все же вперед.

— То-то и беда, что ты двигаешься затыл-

ком вперед.

— Утешил!.. шаг вперед!.. Он не от нас зависит: хочешь не хочешь, а заноси ногу, ступай. И никто не идет назад, все — вперед. Есть в природе что-то такое, что движет людей... именно сторукие силы!.. Вперед, — да как же иначе-то быть?

— Но неужели же тебе невозможно переменить свою жизнь?

— Что возможно, то всегда и есть на деле, в жизни! Если мы идем не по той стороне проспекта, то, значит, в настоящую минуту и невозможно идти там; а лишь только перейдем на ту сторону, тотчас, но только в будущую минуту, и сделается возможным идти там. Ты странный вопрос задал!

— Однако ты понимаешь меня?

— Нисколько.

— Я спрашиваю, отчего ты ведешь такую грязную жизнь?

— Не знаю.

— Отчего не переменишься?

— Тем более не знаю.

— Попытался бы...

— Не хочется...

— Принудил бы себя.

— Не хочется принудить. Принудил бы? иначе выразиться: захотел бы пожелать? Не хочется захотеть. Что, милый человек, договорились, до абсолютного бытия?.. Найди ты мне хоть одно слово, в котором был бы смысл.

— Ты не знаешь таких слов?

— Нет.

— Труд, честь, любовь, талант, да и много еще, — отвечал Молотов.

Михаил Михайлыч тихо засмеялся; Молотов пожал плечами.

— Что, ты до всего этого сам додумался?

— Сам...

Молотова интересовал его бывший товарищ; он предложил ему зайти в ресторан. Череванин согласился. Когда они сели в маленькой комнате, где никого не было, кроме их, и поставлено было на стол вино, Молотов сказал:

— Удивляюсь диалектическому направлению твоих мыслей! Охота тебе питаться софизмами!

— Слушай, — отвечал Череванин, — я действительно сумею что угодно опровергнуть

или доказать, но я с тобой не играю в слова, а говорю по совести и прямо, что во всех этих хороших речах не нахожу никакого содержания. Диалектика у меня развита. Мой отец преподавал реторику и логику, и он, бывало, заставлял меня на одну и ту же тему говорить pro и contra; или прикажет описать какое-нибудь чувство, и опишешь так, что хоть сейчас в «Великопостный конфект».

— Что это такое?

— Книга такая — «Великопостный конфект, или Слово на вопрошение о смерти». Но не в «Конфекте» дело. Я тебе сознаюсь, что умею говорить и, если угодно, буду против себя красноречив. Да что толку, лучше правду говорить. Вот я тебе и сообщаю, что думаю. Если можно, так сделай, чтобы я не думал, уничтожь мои мысли. Не сделать тебе этого, практический человек.

— Это время сделает... Очень просто могут разрешиться твои сомнения. Пусть обстоятельства пристукнут тебя покрепче; тогда поневоле оставишь диалектику и найдешь смысл в таких предметах, как кусок хлеба, заплата на брюки, полено для печи.

— Случалось, милый человек, — и это — голодал. Перетерпишь, и ничего. Всё пустяки по сравнению с вечностью!

— Но ведь запасешь на старость?

— Нет.

— Стар будешь, болезни пойдут, а ты без денег.

— Веселенький пейзажик!

— Тогда не покажется веселеньким. Но это еще в будущем... Неужели тебя теперь никогда совесть не мучит?

— Вот это слово не пустое!.. В нем реальное понятие; ощутить можно совесть, и она не выдумка добродушных людей.

— Наконец-то!.. И ты ощущаешь ее?

— А то как же? нельзя же без того! Ведь не мною выдумана совесть, а уже это самую природою устроено, и я тут ни при чем. Мне только остается любоваться на то, как она меня мучит, наблюдать ее, смотреть прямо в лицо пучеглазой совести, — я это и делаю. При этом заметь: что тебя тревожит, то, может быть, на меня и не действует; кроме того, у меня особый род совести — так называемая «сожженная». — Михаил Михайлыч сказал:

не «сожжѣнная», а «сожженная».

— Это что такое еще?

— Многое ложилось и на мою совесть; но я страшной силой воли всегда умел подавить в себе моральное страдание; не то чтобы заглушал совесть, закрывал перед ней глаза, трусил, лукавил и оправдывался, — нет, нет, я прямо смотрел ей в рожу, холодно и со злостью, стиснув зубы. «Вперед не будешь?» — спрашивал я себя. «Почем знаю, может быть, и буду!» Случалось, что я бросался на кровать и, накрыв голову подушкой, едва не задыхался; и под подушкой я слышал голос: «Вперед не будешь?» Тогда я отвечал в бешенстве: «Буду, теперь непременно буду!»

Череванин быстро выпил две рюмки, одну за другой. Нельзя было сомневаться в том, что Череванин говорил правду. Молотов только произнес:

— О боже мой!

— Знаешь, что меня сгубило? — продолжал Череванин. — Я всегда честно мыслил.

— Разве это может сгубить человека?

— Может. Но знаешь ли, что значит честно мыслить, не бояться своей головы, своего ума,

смотреть в свою душу, не подличая, а если не веришь чему, так и говорить, что не веришь, и не обманывать себя? О, это тяжелое дело! Кто надувает себя, тот всегда спокоен; но я не хочу вашего спокойствия. Есть страшные мысли в мире идей, и бродят они днем и ночью, и когда рисуешь и когда вино пьешь. Особенно когда находишься один, глухо вокруг тебя, задумаешься, замечтаешься, фантазии и образы растут, мысли поднимаются на такую высоту, что кажутся дикими; но идет за ними душа до тех пор, что начинаешь бояться за свой рассудок и в страхе хватаешь в руки голову. Мысли рождаются, растут и живут свободно, — их не убьешь, не задавишь, не подкупишь. В этом царстве полная свобода, которой добиваются люди, из-за которой режутся они. Свобода, вечная независимость здесь только и возможна, и только в этом мире можно жить в собственном смысле. Но редко я живу теперь мыслью, состарился и измучился бесплодно. Гаснет хмель в речах, всякая мечта замирает, не чувствую злости ко злу, расположения к добру; смех пропадает; хоть бы совесть мучила, и того нет; скоро я,

кажется, совсем мучиться перестану, — останется одна бесчувственность, и скажут: «Этот человек совсем сгнил»; день ото дня слабеет мой организм, и я, в самом деле, становлюсь немощным сосудом. Но желал бы я воротить свою молодость? Ей-богу, не желал бы! Не надо мне ее, не надо! Это время выработывания идей, непонимания жизни и осмысливание ее, взъерошиванья волос; одушевленные лица, бессонные ночи, горячие речи — все это опротивело мне, потому что человек как ни горячится, а все-таки кончится тем, что оплешивеет и окиснет. А где же моя детская жизнь? Она стала предметом умозрения, фантазии, общих фраз и слепого воспоминания. Все состояние тела и души, всё, что составляет жизнь, есть предмет забвения. Все события от времени потеряли цвет подробностей и значение внутреннему смыслу; цепь жизни разорвана на куски, пружины и кольца ее распались. Чем доказать, что и я жил? Пусть другие нас забудут, нам ли думать о бессмертии; но неужели я так ничтожен, что не стою собственного внимания и памяти? Скучно, скучно!

— Ей-богу, не понимаю, о чем мы толкуем, — отвечал Молотов, когда Михаил Михайлыч после долгой, полушалальной речи поникнул головою. — Никто так не говорит и никто не страдает такими болезнями.

— Так и знал: никто не страдает, как ты; поэтому никому и нет дела до тебя. Все в ответ только и поют стих о Страшном суде. Уж очень вам хочется, чтобы от нас, грешных, «было не слышати ни зыку, ни крику, ни рыдания»... «Река Сион протечет, как гром прогремит», а вы, святые люди, просите, умоляете, чтобы «берега с мест содвинулись, перстью засыпались».

— Но, право, не понимаю, чем ты страдаешь. Неужели можно совсем потерять вкус к жизни? Это невероятно.

— А потерял же!.. Во мне не только положительного, во мне и отрицательного ничего нет, — полное безразличие и пустота! У меня так голова устроена, что я во всяком слове открываю бессодержательность, во всяком явлении — какую-нибудь гадость. Торичеллиевая пустота и сожженная совесть!.. Прежде, бывало, ломался и кричал: труд, отечество,

любовь, свобода, счастье, слава и много иных прекрасных слов; но и тогда уже чувствовал, что лгал, а теперь ничего не хочу, кроме сна, забвения, обморока...

Череванин налил рюмку себе и закурил сигару.

— Любовь, дева, луна, поэзия... — перебил Череванин. — На свете нет любви, а есть аппетит здорового человека; нет девы, а есть бабы; вместо поэзии в жизни мерзость какая-то, скука и тоска неисходная; ну, луна, пожалуй, и есть, да мне плевать на луну: какого черта я в ней не видал? Все мне представляется ничтожным до невероятности, потому что «все на свете скоропреходяще и тленно!». Мне только это вдолбили смолоду. Я постоянно слышал об антихристе, кончине мира, о тленности благ земных... Мы жили подле кладбища, я еженедельно видел покойников и тогда уже детскими пытливыми глазами всматривался в мертвецов. Постоянно я без нужды смирялся, усиленно откапывая в себе всевозможные пороки и гадости, воображал себя червем, прахом, ничтожеством, человеком, недостойным счастья; я презирал себя в дет-

стве! Потом я и очнулся, протянул руки к жизни, но уже поздно было! Взгляд мой был направлен к тому, чтобы видеть одно только зло в себе и людях. Гадко и мрачно! Если вкус человека испорчен, то хотя после он убедится, что пища, употребляемая другими, хороша, а все-таки не будет он способен питаться ею. Но мало ли нашего брата, и все они идут своей дорогой, все понимают, что они такое. Отчего это все веселы, а я один только ничего не понимаю? Оттого, что было время, когда я принимал все близко к сердцу, в плоть и кровь вошли убеждения; а когда очнулся, вкус мой уже был испорчен, трудно было перевоспитаться. Мало только понять новую жизнь, надо жить всем организмом, быть цельным, здоровым человеком. Разные сомнения и нерешимые вопросы для вас, людей иного воспитания, быстро проходят и не имеют никакого значения, а для нас, специалистов в этом деле, они оставляют неискоренимое влияние, так что и на новую жизнь, которая предъявляла права свои, я набросил тайный флер.

— Я никого не люблю, — продолжал Чере-

ванин, — человек я честный и в товариществе добрый, но ни к кому я не привязан, никого мне не надо... Хоть теперь, разве для тебя я здесь сижу и говорю? Поучать, что ли, тебя собрался? Я тебя и знать не знаю. Делал и я людям добро, и не любил никогда тех, кому помогал.

— Зачем же ты и помогал?

— Себя тешил!.. Себя только люблю, — продолжал художник, — один эгоизм, полный, безапелляционный эгоизм!.. Да нет, и не эгоизм... Там, где действует эгоизм, бывает полное довольство, сознание собственного достоинства, а я не живу и не умираю и всегда сам себе гадок. — Для кого же, зачем я буду работать? Себя я не люблю, не уважаю, вас тоже... О ком же заботиться, для кого хлопотать? Уж не для будущего ли поколения трудиться?.. Вот еще диалектический фокус, пункт помешательства, благодумная дичь! Часто от лучших людей слышим, что они работают для будущего, — вот странность-то!.. Ведь нас тогда не будет?.. Благодарно будет грядущее поколение? Но ведь мы не услышим их благодарности, потому что уши наши будут заткнуты

землею... Да нет, и благодарно не будет грядущее поколение; оно обругает нас, потому что пойдет вперед дальше нас, будет сдавлено в своих стремлениях людьми старого века, то есть моими и твоими сверстниками и единомысленниками. Ведь все, что мы называем отсталым, во время оно было передовым, свежим, бодрым, боролось, в свою очередь, с давно прошедшей рутинной, о которой до нас еле слух дошел. Что же, и стариков в былое время называли лестным именем «вольтерьянцев», хотя они тоже небо коптили... И ваше время минет!.. Почем ты знаешь, может быть, самое-то молодое поколение, вот то, которое сидит теперь на школьных скамейках, уже чувствует что-то неловкое по отношению к вам, и в лице его воспитывается вам протест. Неужели оно проживет так же, как и вы, носиться будет с теми же идеями?.. Оно пойдет вперед или нет?.. И вот попомни ты мое слово, что когда тебе и твоим сверстникам стукнет лет шестьдесят и вы, при божьей помощи, дослужитесь немалого чина, вы притиснете молодое поколение, право, притиснете... На свете уж таков обычай, что лишь только

сын дорастет до того, что сам может иметь сына, так и начинает ругать отца. Ведь вечное движение вперед — сытость старым; блага, прежде добытые, становятся до того обыденными, что мы теряем вкус в них. Мы пользуемся всем добром, для нас заготовленным, но всё еще несчастливы; как живот наш добра не помнит: вчера кормили — так нет, сегодня опять хлеба просит. Добьются люди своего, удовлетворятся; но потом, глядишь, новые вопросы, новые желания, иные силы возникают, и старая жизнь давит молодое поколение, потому что человек не может жить две жизни. И новое поколение состарится, в свою очередь, и наших внуков, будущих людей, станет теснить за неведомые ему стремления. Внуки заставят плакаться правнуков, и так далее, в бесконечность. Экая нелепость!.. Выпить, что ли?

— За будущее поколение?

— За все поколения, потому что все они равны. Будто молодое лучше старого или старое лучше молодого? Которое-нибудь из них счастливее, нравственнее, разумнее?.. Все равны!..

— Слушал, слушал я тебя, — сказал наконец Молотов, — и ничего не понял из твоих речей. Я не приготовился к такому потоку софизмов, к такому траурному взгляду и полному отрицанию света и жизни. Как назвать, извини меня, твою дикую систему?

— Если можно, и название есть. Ты видишь, как я говорю гладко; из этого следует, что все у меня обдуманно, приведено в систему и может быть выражено очень красноречиво...

— В чем же дело?

— Кого рефлексия, а нас кладбищенство заело.

— Именно, кладбищенство!

— Оно и есть!.. Да, братец ты мой, как ни закрывай глаза и ни затыкай уши, а печальные явления печальной жизни ежедневно и повсюду совершаются и неотступно требуют нашего внимания. Заснула ли жизнь, как болото, захрясла ли в бедности, истомилась ли в болезни, заглохла ли в невежестве, пороке или такой аномалии, как у меня, — много ли нас тревожит жизнь? Равнодушны мы к ближнему; редко можем понять его несча-

стве. Когда несчастье выдается рельефно, с криком и болью, когда мы видим раны, сильно развороченные болезнью, — тогда только мы спрашиваем себя: «В самом деле, не страдает ли этот человек чем таким?» Узнавши, мы смеемся его глупости. Если ближний страдает от бедности душевной, нам нет дела до него. Кто, дескать, велит ему страдать? Пусть себе!

— Но что такое кладбищенство?

— Вот тебе для образчика. Например, я часто думаю о смерти, до подробностей вникаю в это прекрасное явление природы, потому что я нисколько не брезглив. Вот придет чадолюбивая холера или прохватит столичная лихорадка, а может быть, бревно сорвется с крыши и прихлопнет на месте, и отлучится, как говорят, душа от внешней оболочки. Вообрази теперь хоть ту картину, которую я чаще всего видел в детстве... Положат тебя на стол; под стол поставят ждановскую жидкость; станут курить ладаном, запоют за душу хватающие гимны — «Житейское море» или «О, что это за чудо? как мы предались тлению? как мы с смертью сопряглись?». Собе-

ругся други и знаемые; станут целовать тебя, кто посмелее — в губы, потрусливее — в венки... Дальше?.. что дальше?.. Захлопнут гроб крышкой, и завинтит ее вечным винтом вечного цеха мастер, гробовщик Иван Софронов, и опустят тело в подземные жилища... Могила... Что такое там?.. Я уже вижу, как идут, лезут и ползут черви, крысы, кроты... Веселенький пейзажик!.. Через десять лет провалится крышка от гроба... я все это знаю... а через тридцать останется только череп да две кости от таза...

— У тебя мания, — сказал Молотов.

— Органический порок, наследственный...

— Какая-то нравственная торичеллиевая пустота, сожженная совесть и прогрессивное кладбищенство!

— Самородок!

— Движение вперед спиною, веселенькие пейзажики...

— Важно!.. Экая сила поднялась!.. — Глухой мрак и дубы еловые!

— Гадко! — сказал с отвращением Череванин.

— Не верю я, чтобы нельзя было отрешить-

ся от такого могильного направления... Иначе зачем тебе и существовать на свете?.. Ведь отжил, сам говоришь? так ступай на Неву и отыщи прорубь пошире! Чего ты ждешь от завтрашнего дня? Зачем же тебе и жить завтра? Убирайся!..

Череванина озадачил такой оборот речи.

— Зачем до сих пор ты не вырвал из души всю могильную гадость?

— Не мог...

— Лжешь!

Череванин даже привстал с этого слова.

— Человек все может сделать, — продолжал Молотов, — ты не заботился о себе, запустил свою болезнь, развратил себя.

— Я родился таким...

— Переродиться надо.

— Поздно!

— Лжешь! — повторил Молотов.

Череванин вспыхнул; но это было на минуту. Он глубоко задумался.

— Странное явление — такие господа, как ты, — говорил Молотов. — Скучают о том, что жизнь коротка. Чем короче она, тем более побуждений жить! Если ты уверен, что твоя

жизнь не повторится, то и должен беречь ее; не много дней дано природою...

— И ляжет в основе существования полный эгоизм...

— Эгоизм рождает любовь. Когда удовлетворены твои потребности, является страстное желание сделать всех счастливыми. Ты не любишь других, потому что не любишь себя. Но бывало же и тебе жалко людей, помогал ты им, заботился о них, сострадал им?

— Самого себя жалко было — больше ничего. Несчастия людские раздражали, не давали покою, это сердило, — вот и все.

— В том-то и любовь, что чужое горе до такой степени станет твоим горем, что делается жалко самого себя.

— Перестану, — сказал неожиданно Череванин.

Молотов посмотрел на него с удивлением...

— Попробую, что будет...

— С богом, Михаил Михайлыч!

— Скучно будет, лягу на диван, задеру на стену ноги и буду ждать час, другой, третий; выжду же, что переменится расположение духа; а не то выйду на улицу и буду ходить до

изнеможения... Скучно тебе? — спросил себя художник и сам же ответил, — скучно. Ну, и пусть скучно! — прибавил он...

— Вот это не спиной вперед, — сказал Молотов...

— Право?

— Вот и возможно стало перемениться?

— В настоящую минуту возможно; а давеча не было перемены, — значит, тогда, в ту-то минуту, и возможности не было. Что возможно, то сейчас и на деле есть...

— Ну, так и дубы еловые в сторону?

— В сторону...

— И великопостные конфекты?..

— И конфекты туда же!

— И торичеллиевую пустоту?

— Ну, не совсем, — сказал в раздумье художник...

— Кладбищенство осталось, значит, можно соблазнить.

— Соблазнить?.. да вот тебе еще пустое слово!.. Соблазнить никто и никого не может... Соблазнить?.. что это такое? Я в этом слове ничего не слышу, — оно совсем пустое!.. Меня никто и никогда не соблазнял; я всегда удо-

влетворял только своим потребностям... Теперь поворот на новую жизнь — вот и все!

— Что же ты думаешь предпринять теперь?

— Начну работать как вол. Не будет художественного жара, стану копии писать да за рубль продавать. Заведу чистоту в квартире, насильно заведу; выгоню квасных либералов; поселюсь среди женщин — пусть смягчат мои нравы: это их дело, и вот тогда посмотрю, что со мной будет.

Череванин долго мечтал о новой жизни. Он встрепенулся и повеселел...

— Скучно тебе? — говорил он, выходя из ресторана. — Скучно! А мне какое дело? пусть скучно!

Молотов смеялся.

У Дороговых вечером опять было маленькое собрание. По обыкновению пришел Молотов; Череванин занимался портретами; здесь же был молодой Касимов, который на днях получил место. Касимов радовался по-детски, что и он наконец стал чиновником. Молодые люди, среди их и Надя, собрались около ярко освещенного портрета, над которым трудился

Череванин; дети с любопытством смотрели на его работу. Касимов болтал без умолку, строил разные планы о службе и наконец уже стал впадать в роль совершенного деятеля, воображая, что он, даст бог, поразит всевозможную административную неправду. Череванин не мог не отравить его молодой радости.

— А карьера художника вам не нравится более? — спросил он.

Касимову неловко стало.

— Нет, мое назначение другое; должен быть чиновником.

— Отчего же вы в чиновники пошли, а не в монахи, не в художники? А во время войны вы мечтали об офицерской карьере...

Касимов покраснел...

— Отчего же вы думаете, что чиновничество — ваше призвание?

— Ах, боже мой, отчего и другие думают это. Вот спросите Егора Иваныча, отчего он чиновник, а не кто-нибудь другой?..

— Отчего, Егор Иваныч?

Молотов засмеялся.

— По призванию? — спросил Череванин...

— Нет, по приглашению друга...

— Разве можно без призвания служить? — возразил Касимов запальчиво.

— Егор Иваныч, расскажи господину Касимову в назидание, как ты ехал на службу, точно мокрая курица.

— К чему! — ответил Молотов.

— Расскажите, — присоединила и Надя свой голос...

Касимову тоже очень хотелось послушать Молотова, которого он очень высоко ставил в своем воображении и едва ли не считал необыкновенным существом. Он знал Молотова как человека независимого, гордого, который ни пред кем не гнул спины, как человека свободномыслящего и притом степенного, положительного и практического. «Вот у кого поучиться!» — думал он и боялся, что Егор Иваныч не захочет высказаться...

— Извольте, расскажу, — отвечал Молотов к общему удовольствию.

— Моей карьерой распорядился фатум, — начал он, — а не разумный выбор. Не то чтобы я сам захотел служить, а это со мною просто случилось... Дело в том, что я занимался у

одного помещика, нисколько не думая о будущем; помещик оскорбил меня, приходилось оставить место, — и вот тогда взяло меня страшное раздумье о моем призвании. Тогда первый раз возник в моем уме вопрос, который я долго потом решал: «Не старую, отцами переданную жизнь продолжать, а создать свою, — выдумать, что ли, ее, вычитать, у людей умных спросить?» Вот так, как и вы теперь желаете порасспросить о том же умных и практических людей. Вопрос родился неожиданно, поставлен был неотразимо, но отвечать на него все-таки было нечего, потому что за душой ничего не было. В это время приятель мой написал мне письмо, в котором ясно, как день божий, доказывал мне, что я рожден чиновником. Я не поверил ему, но у меня денег не было, средств к жизни никаких, а есть хотелось; кроме того, неловко же так жить на свете, и на вопрос: «Что ты?» надо отвечать хоть это: «Я чиновник!» Вот я, долго не думая, махнул рукой и поехал в губернию к приятелю, который обещал достать мне место. Если бы он предложил мне место учителя, корреспондента, управляющего, я

бы согласился с таким же расположением, как и на должность чиновника. Вся сила в том, что мне некуда было приютиться. Я завидовал тем юношам, которые, кончив курс, имеют возможность года три-четыре не поступать ни на какую службу, которые обеспечены своими отцами и дедами. Они могут осмотреться, поучиться, пожить. Будь у меня небольшое состояние, я ни за что не пошел бы на службу, какие там ни пиши мой приятель письма. Я ехал к другу мокрой курицей, подавленный обстоятельствами, чувствуя, что я не чиновник, — а кто? не знал я тогда... Тяжело мне было думать: «Зачем меня несет туда? ни больше ни меньше как на казенную пищу, на государственные харчи!..» Мне совестно было такого положения, и вот я стал успокаивать себя фразами друга: «От тебя не требуют любви к службе; нам нужны твой ум, честность, труд». — «Что ж, — подумал я, — и буду работать». И с этого слова вдруг на меня напала какая-то фальшивая торжественность, напряженная, деланая злоба ко всему подлому. Я поехал таким карателем, что страшно стало за человека... Перестал я жа-

леть себя, готов был взяться за дело честно, вынести какую угодно борьбу, всю жизнь свою положить на истребление подлости людской, на гибель нарушителям закона. «Сделаю же что-нибудь!» — уверял я себя. Мне даже весело стало... Припомнилась мне судьба некоторых молодых людей, задавленных сильными мира за прогрессивные идеи. «Так что же? — отвечал я на свои мысли. — Пусть выгонят из службы... мне не жалко себя... я постою за правду... на пядень не отступлю от нее». Как теперь помню, я тогда раздумался, способен ли я решиться на какую-нибудь чиновную подлость; долго я прислушивался к своей душе и наконец с юношеским восторгом сказал себе: «Нет, не способен!» Я чуть не закричал во все горло: «Итак, борьба!» и стал торопить ямщика — верно, поскорей хотелось вступить в борьбу... примерно завтра же поутру... Я был почти уверен, что мне придется страдать за правду, что не диво, если меня и выгонят из службы за высокие мои добродетели. Немного погодя я уже мечтал о такой участи с наслаждением и гордостью; мне было весело, и, увлекаясь, я торо-

пил ямщика... Но скажите, ради бога, отчего это я опять поехал мокрой курицей? Юноша понял, что он занимался деланием фраз пустых... Мне стыдно стало за то, что я мечтал, как выгонят меня из службы... Во всем этом слышалось одно: «Не хочется быть чиновником — ох, как не хочется», а обстоятельства насильно делают чиновником. Вот и думалось, что судьба же и спасет меня, что авось-либо, даст бог, вытурят со службы. Так школьник мечтает о том, что его исключат из училища и он опять будет жить дома, среди сестер, братьев, товарищей, подле матери и отца. Вот когда сжалось мое сердце... «Кто же такой Молотов?» — спрашивал я себя со злостью. У меня не только не было ни роду ни племени, ни кола ни двора, — у меня не было и сословия, я не принадлежал ни к какому кружку; я был космополит, человек, не имеющий почвы под ногами. Как мне хотелось тогда видеть своего друга, единственного человека, который был близок ко мне; как хотелось обнять его и высказать все, что было на душе! Мне казалось, что на меня напала тоска от одиночества на большой дороге, вдали

от людей... «Вперед!.. жизнь широка!.. не сегодня она началась, не завтра кончится! Перейдет время, все уляжется и определится». Я представлял себе, как встречу со своим приятелем, что буду говорить, о чем спорить, как проводить вместе время. В моем воображении уже рисовался губернский город. Доселе я был студентом, потом жадно всматривался в сельскую жизнь и природу, а теперь приходилось увидеть провинциальную городскую жизнь, для меня еще не знакомую. Служба в моих мыслях отходила на второй план, интересы ее ступшеывались, а возбуждалась простая любознательность. Будущее было смутно и неразгадано; но хотелось повидать людей, — а в этом отношении что лучше следственных дел в жизни губернского города, где все хорошо знают друг друга? И значит, в губернию, где прежде к помещику, я ехал без ясного сознания цели жизни, в качестве зрителя с единственным намерением поучиться, лишь с той разницей, что у меня уже не было детски ясного взгляда на мир божий. Я понял, что мне нужно было: «О боже мой, если бы можно года четыре пожить без службы част-

ной и общественной, осмотреться, одуматься и отведать вольного, нестесненного существования!» Но желания мои были неосуществимы, и я через несколько дней надел мундир чиновника... Оно и выходит, что я поехал на службу не по призванию, а по приглашению друга...

Все ожидали продолжения рассказа Молотова; но он не хотел больше говорить. Касимов не сделал ни одного замечания насчет Молотова. Он сознавал, что идет на службу по приказанию отца, его просто определяют в департамент, и что у него нет и тех побуждений идти в чиновники, какие были когда-то у Молотова. Он чувствовал, что не может взять на себя роль Егора Иваныча, и совсем растерялся. Но на него уже никто не обращал внимания: всех занял Молотов.

— Что же потом было с вами? — спросила Надя Молотова.

— Не хочется вспоминать, Надежда Игнатьевна.

— Отчего же?

— Молод был, ничего не понимал и кончил очень нехорошо.

— Не взятки же брал? — заметил Череванин.

— Какие тут взятки?.. Я сам готов был дать взятку, чтобы только образумили меня...

— Что же случилось? — повторила Надя с заметным любопытством.

— Если не хочешь говорить, позволь, я расскажу... — вмешался Череванин.

— Нет, после когда-нибудь, — ответил решительно Молотов.

Надя на этот раз надеялась услышать от Молотова нечто вроде исповеди; но Егор Иванович не был расположен к откровенности. Под влиянием воспоминаний о молодых годах он сгрустнул и задумался. Надя смотрела на него пытливым взглядом, желая отгадать, что у него на душе. В это время послышался звонок в прихожей. Надя вздрогнула от этого звука. Молотов проговорил: «Кто бы это?» и обратил внимание на Надежду Игнатьевну. Она была вся взволнована. «Что бы это значило?» — подумал он и стал с нетерпением ожидать гостя, на встречу которого побежали дети... В комнату вместе с Игнатом Васильичем вошел мужчина лет тридцати, высокий, стройный и кра-

савец... Надя быстро окинула взором гостя, и сердце ее упало. «Третий раз он здесь! — подумала Надя. — Зачем?» Гость не нравился ей, а между тем она думала: «Не жених ли?»

Гость сделал общий поклон, но особенно почтительно, даже с благоговением, он поклонился Надежде Игнатьевне, точно она была жена его начальника. Этот господин был секретарем при статском генерале Подтяжине, директоре одного присутственного места, Иван Федорыч Чаплинский. Чаплинский и Игнат Васильич прошли в кабинет. Беседа молодых людей расстроилась. Надя ушла к матери; Касимов отправился домой. Остались Молотов и Череванин...

— Как твои дела? — спросил Молотов Череванина.

— Все еще скучно, хоть и переменял жизнь...

— Подожди, не сразу же.

— Подожду... А теперь пока худо... После того как мы виделись, прошла целая неделя самой пошлой и бессодержательной жизни.

— Что же ты делал?

— Читал, в театре был, смотрел парады,

шлялся по улицам либо сидел целые часы и, выпуча глаза, смотрел на двор; ходил по комнате и считал свои шаги, — однажды насчитал до десяти тысяч. Третьего дня я отправился на набережную Невы, оттуда ко дворцу, от дворца к Дациару, потом в Пассаж; шел-шел и очутился у Невского монастыря, и обратно домой... Все скучно было. Встретилась баба с шарманкой, при которой был приткнут ребенок ее. Я дал бабе десять копеек... Мне не было ее жалко, нисколько!.. Ведь и ты бы не стал жалеть? Много идет народу, и никому нет дела, некогда!.. Мне таки было некогда.

— Чем же ты был занят?

— Мне скучно было, я, собственно, этим и был занят. Впрочем, что ж? Я ей дал гривеник — пусть выпьет! Для того же, чтобы помочь этой женщине, надо отнять у ней ребенка, изломать ее шарманку, дать ей тепло, деньги и хоть несколько здравых идей, а здравых-то идей у меня у самого нет... Ох вы, благодетели рода человеческого! Вот и я ходил по улице, добрые дела делал; но у меня, когда я делаю так называемое добро, после никогда не бывает того радостного чувствава-

нница, которое ощущает всякий, подавший нищему гривну. Иной гривну даст, а на рубли блаженствует; а справься, блаженствует ли человек, получивший гривну? Отсюда одно следует — что добродетель награждается еще и в этой жизни. За несколько грошей — сколько чистого, высокого духовного наслаждения! Вот и мы попытались блаженствовать; нет, не выходит: за свою же гривну скучно!

— Что же еще ты видел замечательного?

— Видел я еще старика немца. В одном сюртучишке, на морозе, выводил он какую-то дичь музыкальную. Собралась около него публика... Музыкант наш берет ноты на авось. «Плохо, немчура», — сказал кучер, слушавший его, и вслед за ним толпа разошлась. На другой день мне случилось опять быть на улице, — и что же? Вижу, старик мой стоит за углом, скрипчонка под мышкой, сам весь трясется и протягивает руку. «Что, брат, не вывезло святое искусство?» — спросил я его. Черт дернул немца заплакать; я ему дал рубль серебром. «Выпей, дружище!» — сказал я ему. «Ой, гер {господин — нем.}, выпью», —

ответил он. Так мы и расстались.

— Неужели ты только то замечал, что может нагнать скуку?

— Нет, и веселенькие пейзажики попадались.

— Опять пейзажики?

— Опять они. Так, я увидел мальчишку, замаранного, оборванного, но который с полным наслаждением копается в снегу. «Бравый парень!» — говорю ему. Он на меня взглянул и ответил: «Дяденька, а дяденька?» — «Что тебе?» — «Дай глосык». — «Зачем?» — «Гостинца куплю».

— И ты дал?

— Я ли не дам?.. Полные пять копеек отсчитал. Мой парень подрал к прянишнику. Я спрятался за угол и стал наблюдать. Он скоро вернулся назад, уписывая трехкопеечную ковригу; потом огляделся и начать рыть что-то около забора. «Что ты делаешь?» — спросил я, подкравшись к нему сзади. Мальчуган испугался. Оказалось, что он закапывал под забором оставшуюся от покупки пряника сдачу. «Это зачем?» — сказал я. «Мамка отымет». — «А ты не давай!» — «Выпогет». — «У

тебя мамка злая?» — «Чегтовка!» Ну как такому развитому мальчику не дать было еще пять копеек?

— И ты дал?

— Дал... Еще раз я видел историю... Стоит будочник и нюхает табак. К нему подходит пьяный мужик и под самым носом его начинает мычать. Лицо стража принимает административное выражение. «Чего тебе?» — говорит. Мужик мычит себе. Лицо стража принимает выражение юридическое. «Пошел прочь!» — говорит. Но мужик во все горло закричал: «Знать ничего не хочу!» — «Чего решешь?» — убеждает его страж и принимает выражение военное. «Ничего знать не хочу!» — кричит мужик. Тогда будочник взял его за шиворот и, ударив методически, с чувством, с толком, с расстановкой, три раза по шее, проговорил: «Одёр, не реви, а коли натрескался, ступай домой!» Мужик постоял, посмотрел на стража без смысла, промычал что-то и пошел себе далее.

— Неужели все это время ты шатался по улицам?

— Был и дома; но и тут не веселый. Все ра-

ботать не будешь, а что же делать, когда не работается? Настает тогда самое глупое препровождение времени; лежишь, задравши ноги на стену, куришь сигары, плюешь на пол и ждешь, скоро ли опять шевельнется мысль в голове, скоро ли захочется работать.

— И только?

— Только и есть. Впрочем, на днях собрался с силами, всю квартиру перерыл, велел вымести полы, прикупил мебели, чистоту завел, добыл цветов и думаю: «Дай устройю идиллию!»... Как бы это сделать? Необходимы дамы, потому что, как тебе известно, их назначение — смягчать наши нравы. По соседству живут две сестрицы, шитьём занимаются; я их и пригласил, объяснив предварительно, что я их приглашаю единственно для идиллии, а не для чего иного. Пили чай, угощались конфетами и разными сиропами, играли в дурачки, даже танцевать хотели, да только я один и был кавалер... Девуцы всё сомневались, что я просил их только для идиллии, но наконец убедились, и, когда прощались, старшая сказала: «Хорошо с кем-нибудь компанию водить... Давайте быть знакомыми... хо-

дить будем один к другому...» — «Будем», — говорю. Видишь, как быстро смягчаются мои нравы? Они обещались устроить мою квартиру, сошьют мне новое белье, все брюки и сюртуки мои перечистили, а младшая сестра так напмадила мою голову, что чудо!

— А старые приятели?

— Уплыли.

— А что, если ты полюбишь которую-нибудь из сестер?

— Вряд ли.

— Они образованные девушки?

— Нельзя сказать, да это все равно.

— А поведение?

— Они добрые девушки.

Молотов рассмеялся. Но он неохотно слушал Череванина. Ему хотелось поговорить с Надей, расспросить, чем она взволнована; но, как нарочно, пришел дворник и отозвал его по делам управления домом. Игнат Васильич и Чаплинский вышли из кабинета; и они куда-то отправлялись. На лице Дорогова было написано торжество, он сиял с головы до ног. Чаплинский с глубоким благоговением шел около него. Во всем этом было что-то загадоч-

ное.

Надя опять сильно встревожилась, когда, при уходе гостя, встретила с ним и когда гость отвесил ей глубочайший поклон. Странным покажется, что Надя, лишь появится в доме новое лицо, не может смотреть на него иначе, как на жениха. Но в ее кругу с посторонними людьми без нужды не знакомятся; притом молодые и старые люди сватаются без совести и церемонии: увидят хорошенькую девушку, не познакомятся даже с ней покороче, не расспросят лично ее, какова она, а прислушиваются на стороне о ее поведении и потом обращаются прямо к отцу: я, дескать, хороший человек, так давай твою дочку — жить с ней хочу. Вот и все. Но Надя, постоянно живущая в ожидании жениха и, значит, привычная к такому состоянию, скоро успокоилась. Увидя Череванина одного, она спросила:

— Где ж Егор Иваныч?

— Ушел. За ним дворник приходил.

Надя села подле Череванина.

— Скажите, что с Егором Иванычем случи-

лось в губернии?

— Уже не думаете ли вы, что его гнали за современные идеи, за либерализм!..

— Что же? — спросила Надя с любопытством.

— Ничего. Он просто оказался неспособным человеком. Вместо того чтобы служить как все люди, все вникал в дело, размышлял, волновался и тосковал. Он добрый парень, простой мужик...

— Вы, Михаил Михайлыч, на весь свет сердиты...

— Ну да; а вот он так не сердился на свет, а бестолково любил его. Начать с того, что его постоянно смущало, зачем он поступил по рекомендации друга, а не по своим достоинствам. Приятель, разумеется, смеялся его странной щекотливости.

— Приятеля его звали Негодящев?

— Да.

— Какая странная фамилия, точно нарочно выдуманна...

— А между тем он вел себя умнее, нежели Молотов. Он умел пользоваться случаем. Однажды Негодящев в публичном саду подал

какой-то пожилой даме перчатку, которую она уронила. Оказалось, что это была тетка губернатора. Другой раз он нашел поминанье, принадлежащее правителю канцелярии, человеку набожному; он поминанье представил по принадлежности, лично правителю. Потом еще подошел случай: предводитель губернии был ни во что не верующий; ему кто-то сообщил, что и Негодящев ни во что не верует. Открылось место по следственной части... Вы извините меня, я плохо знаю все эти термины административные, может быть, и спутаю что... Негодящев подал просьбу. Многие рассчитывали на открывшуюся вакансию; но за обедом у губернатора предводитель сказал: «Негодящев — молодой рациональный человек»; правитель сказал, что он — «молодой набожный человек», а губернаторская тетка, что он — «молодой почтительный человек». По этим трем приговорам состоялась резолюция об его определении, составила его карьера. Ну есть ли тут смысл? Очевидно, нет; а все-таки Негодящев стал чиновником особых поручений. Вот Негодящев стал хлопотать о Молотове. Он был знаком с

одной помещицей, имевшей огромное влияние на всякие дела. Эта госпожа владела огромными имениями, которые, несмотря на ее богатство, все были заложены. Она была дама пожилая, степенная. Много своих воспитанниц повыдала замуж за чиновников. Это была заступница всех несчастных и гонимых: откупщик как-то совсем пропал — выходила дорога в Сибирь, к гипербореям; но он просил нашу даму похлопотать — и спасся. Вот к этой-то госпоже Негодящев свез своего друга. После визита Молотов проговорил энергичски: «О, черт бы побрал и службу совсем!», что Негодящеву показалось очень странным. Он объяснил своему приятелю, что унывать нечего, что дело не в форме, а в деле, не в средствах, а в принципе, что все служат с протекцией, значит, и ты служи, лишь только пользу приноси. «Мы, говорит, люди современные, с гонором, взятки не возьмем, подлости не сделаем, но не воспользоваться рекомендацией — это нелепость, это приторный, смешной пуризм. Потому и служба называется фортуной». После того он пересчитал служащих лиц, кого знал, с их окладами, чина-

ми, заслугами и формулярами, и что же? оказалось, что немногие из них добились карьеры единственно своими силами. «Вот тебе факты, говорит, ты их любишь!» «Неужели, — спрашивал он Молотова, — ты придешь к начальнику губернии и скажешь: не хочу места! вы тогда дайте его, когда обнаружатся способности мои?» — «У тебя, — заключил приятель, — я вижу, нет об этом предмете даже элементарных понятий!..» Молотов давеча сказал, что он мечтал о том, как выгонят его из службы, что обстоятельства сделали его чиновником, а не призвание, что ему хотелось погулять, поучиться, пожить, а его заперали в канцелярию. Вот он и стал придирааться ко всякой мелочи...

— Разве это мелочи? — спросила Надя.

— А то что же? Представьте себе героя, который говорит: «Не хочу места, дайте мне его по заслугам, а не по протекции». Благородно, а смешно!.. А главное дело в том, что Молотов придирался, потому что служить не хотелось ему, — значит, благородство-то является на втором плане.

— Вы все умеете представить в мрачном

виде...

— Такова уже моя профессия!.. Я...

— Продолжайте, — перебила Надя, видя, что Череванин хочет распространяться о своей профессии...

— Ну-с, — начал Череванин. — Молотов получил место. Приятель ввел его в свой кружок; мало-помалу он стал привыкать, всматриваться в службу и окружающую жизнь; время тянулось довольно вяло и скучно, как тому и следует быть... Но вот Андрей объявил Молотову, что он вместе с ним назначен на следствие. Дело было серьезное: об убийстве женою мужа. Егор Иваныч стрепенулся: во-первых, он никогда не видал убийц; во-вторых, служба вдруг представилась ему непосягаемо высоким и священным долгом — в его руках были суд и правда! Но с первого же шагу начался разлад. Не в его натуре было вести такие дела хладнокровно, не горячась, безучастно. Товарищ смело и бодро ходит, а он как будто на него похож, но уже кралось что-то злое в сердце его. Скоро Молотов увидел преступницу. Это была женщина бледная, исхудалая, трепещущая... Ей уже было внуше-

но, что она... Эх, Надежда Игнатьевна, женщинам много говорить нельзя! — вдруг перервал Череванин...

— Отчего же?

— Неприлично...

Надя не отвечала.

— Хорошо ли сказать: преступнице уже внушено было, что она не избежит... плетей!

Надя вздрогнула и покраснела...

— Молотов застал преступницу в минуту яростного увлечения, когда она ругалась, страшно клялась, выла от злости и на том свете грозила мужу. Егор Иваныч сначала остановился в ужасе, потом ему жалко стало, наконец, на глазах доброго парня показались слезы. Сердце его было молодо, зелено, горячо и впечатлительно... Понятно, он не мог остаться бесчувственным камнем, видя в лице женщины весь ужас грядущих плетей... Молотов взял женщину за руку... Она заметила его сожаление, затряслась, заплакала; одичалость и отчаяние сменились страхом и смирением. «Барин, научи ты меня богу молиться!» — сказала она. Вот этого-то он и не умел сделать. Он только отвернулся в сторо-

ну. Когда преступница успокоилась немного, Молотов обласкал ее, утешал и уговаривал ее, как мог... Она сделалась доверчива и рассказала о своих несчастиях. Видите ли... (Череванин остановился, затрудняясь почему-то вести рассказ...)

— Говорите же, — заметила нетерпеливо Надя...

— Я, пожалуй, скажу! — отвечал он цинически. — Барин, которого она любила, отдал ее насильно замуж за своего крестьянина.

Надя опустила глаза; но она слушала с напряженным вниманием, — и странно: ей не столько хотелось узнать, что будет с преступницей, сколько то, что будет делать Егор Иванович.

— Мужик ненавидел свою жену, бил ее, тиранил, унижал всеми мерами, публично попрекал ее, а она, дура, в ногах у него валялась и просила прощения... В чем?.. Скоро у них родился сын; муж и его стал ненавидеть... Жена все терпела... Наконец, по жалобе мужа, ее высекли однажды... С той минуты стало твориться с ней недоброе; муж стал невыносим для нее... Одним словом, она убила мужа свое-

го топором, а сама убежала в лес, где и нашли ее в полупомешанном состоянии. Рассказ своей женщина кончила истерическими рыданиями и просьбой — отдать ей сына...

— Что же Молотов? — спросила Надя.

— Плакал, — отвечал насмешливо художник.

— Что ж тут смешного? — спросила Надя.

— Сейчас скажу... Егор Иваныч, оставив женщину, как от хмеля качался. Товарищ встретил его бодрый, веселый, точно живой водой sprыснутый... Под его руками кипело следствие, и он факт за фактом выводил на свежую воду. Молотов был бледен... «Что с тобой?» — спросил Андрей. Молотов отвечал: «Неужели она погибнет?» — «Кто?» — «Преступница», — и Егор Иваныч рассказал свою встречу с ней. Он с ужасом вспомнил ее обиды, клятвы и рыдания. Товарищ радовался, что будет обстоятельное следствие, а Молотов жалобно повторял: «Она так много страдала, за что же еще будет страдать?» Вот и вышло смешно, потому что он не нашелся, что? отвечать на такие слова приятеля: «Она должна быть наказана за убийство. Многие страдают

больше ее, а не берутся за топор и ищут законного пути. Все эти чувствования, друг мой, общемировые идеи не имеют никакого юридического смысла. Можешь стихи писать на эту тему, повесть. Я думал, ты мне помогаешь, а ты только путаешь дело! В службе ничего нет поэтического; служба — труд тяжелый. Стоит только пуститься в психологию, у нас всю губернию ограбят. Да и что я могу сделать? Мы — исполнители закона и должны быть бесстрастны!» Весь юридический факультет выскочил из головы доброго парня. На глазах его шло деятельно следствие: место преступления освидетельствовано, орудие кровавое при деле, раны убитого осмотрены, смерены, сосчитаны, определены и записаны, отобраны все показания. Молотов лишь об одном заботился — сколько-нибудь успокоить страдалицу и облегчить ее положение. Он хлопотал, чтобы принесли к ней сына, он просил приставленных к женщине сторожей — обращаться с ней как можно ласковее и предупредительнее.

— Какой он добрый, — проговорила Надя тихо.

— Да; но он заботился не об обществе, которое страдает от убийцы, а о самой убийце, которая вредила обществу. Ему жалко стало... При его характере и в его летах не следовало брать на себя такие обязанности. Он оправдывался тем, что не готовил себя к такому роду занятий, призвания не чувствовал, а призвание, по его словам, все одно что любовь, — оно, видите ли, при всех противоречиях и сомнениях, ведет к практической цели, при нем в самом разладе бывает гармония. Пустяки!.. диалектические фокусы! Призвания, как и любви, нет на свете... К чему вы, например, призваны? к чему все люди призваны?.. Разумеется, не следовало идти в чиновники. Ему надо было остаться простым зрителем, вот как все бабы и мужики, которые, увидев трепещущую преступницу, утирали слезы кулаками и вздыхали; ему следовало вмешаться в толпу и плакать.

— Я не понимаю, на что вы негодуете, Михаил Михайлыч.

— Я уважаю его, Надежда Игнатьевна: он добрый мужик...

— Какие выражения!

— Ну, мужичок, что ли... Этак ласковее...

— Вы никого не любите...

— Никого, Надежда Игнатьевна...

— Что же дальше? — спросила Надя с досадой.

— Наш век — дивный век, — отвечал Череванин. — Ныне все заедены: кто рефлексией, кто средой, я, например, кладбищенством... (Надя поморщилась при этом слове...) кто чем; не только умные, все дураки заедены; прежде вы встречали просто болвана, а теперь болван с рефлексией.

— Перестаньте браниться!

— Молотов не дурак, но он должен быть заеденным по духу нашего века... Дамы не страдают этой болезнью, — она мужская. Но послушайте, что его заело.

— Все же не то, что вас...

— Нет, не кладбищенство. Этот случай определил направление Молотова. Он первый раз встретил преступницу, которая, в существе дела, была женщина честная, преступление совершила она по внешним, не в ее натуре лежащим условиям. Это дало толчок для дальнейшего его развития. Он все на-

чал объяснять внешними условиями; всякого негодяя ему стало жалко. Они казались ему несчастными, больными либо помешанными. Молотов и до сих пор сохранил свое добродушие, будучи уверен, что во всяком человеке есть добрые начала. Он кого угодно оправдывает, как я кого угодно опровергну. Ему нужно быть адвокатом, защитником, а не карателем. Чего он искал? Тайну жизни разрешить хотел? Словом, не жил, а философствовал... Вот и напустил он на себя блажь.

— Я еще не вижу никакой блажи, — заметила Надя...

— Потому что главного еще и не знаете. Бывало, он выйдет на реку и всматривается в волжскую деятельность. На берегу огромными толпами бегают дети, оборванные, грязные, с непокрытыми головами, босоногие; в бедности и без смысла зачиналась их жизнь. Он стоит и думает: «Вот новое поколение безграмотного люду, сколько из них будет воров, людей, не имеющих нравственности!» Пусть бы он развлекался только такими мыслями, а то они тревожили его. Он в то время говорил, что желал бы снять крыши со всех домов и за-

глянуть в эти тысячи жизней. Ко всему этому поднялись со дна души все так называемые коренные вопросы. Бог, душа, грех, смерть — все это ломало его голову и коробило. Ему хотелось и в свою и в чужую жизнь заглянуть до самой глубины, до последних основ ее. Он думал, что учился мало, и начал просиживать ночи над книгами. Но все это показывает только то, что он был мальчик способный, хотел проверить все своей головой и жизнью, то есть он развивался, что неизбежно в молодые годы. Важно то, до чего он додумался.

Череванин перевел дух.

— Молотов, — продолжал Череванин, — в таком состоянии непременно должен был высказаться. К приятелю своему он охладел и уже не мог быть с ним откровенным. Молотов сошелся с одним доктором, человеком в высшей степени положительным и спокойным, которого ничто не могло потревожить. Молотов проговорился перед доктором, что его жизнь раздражала. «Напрасно, — отвечал доктор, — если бедствия людские должны тревожить нас постоянно, то, значит, вот и теперь мы не имеем права сидеть здесь спо-

койно. Вот в эту же минуту кого-нибудь режут, скрадывают, кто-нибудь умирает с голоду либо топится. Давайте плакать. Но никакие нервы не вынесут, если мы сделаемся участниками всякого горя, какое только есть на свете. Я сейчас был у женщины, которая впала в помешательство, и вот видите, все-таки сигару курю спокойно. Отчего же я не лезу на стены? Оттого, что моя деятельность определена ясно. По моему мнению, все, что совершается в данную минуту, и должно совершаться; потом, служим мы лицу частному, индивидууму. Поэтому, встречаясь с болезнью, мы не смотрим на нее с нравственной точки зрения, судейской, религиозной. Для меня ясно, что сильно ожиревший человек не будет деятелен, чахоточный — весел; у кого узок лоб, тот не выдумает и пару здоровых идей. Поэтому мы ненависти к больному не питаем; напротив, с любознательностью заглядываем в глубокую рану, хотя бы она была сделана пороком. Если болезнь неизлечима, мы не сокрушаемся, а говорим спокойно: по законам природы, нам известным, она и должна быть неизлечима. Видите, как все это

просто?»

— Что же Молотов отвечал? — спросила Надя, для которой подобный разговор был чересчур нов и неожидан.

— Он отвечал: «Я ничего не понимаю». Доктор ему объяснял свое, а в голове у него было свое, молотовское. В его голове стоял вопрос: «Кто виноват в том, что человек делается злодеем? Вы докажите, что он сам, один виноват в сделанном зле, а не привели его к нему другие, и тогда делайте что хотите». Вон куда метнул!

— Однако сказал же что-нибудь доктор?

— Тот свое несет: «Мы никого не наказываем; у нас нет виноватых, а есть больные. Мы не казним больной член, когда отрезаем его; волка бешеного убиваем не за то, что он виноват, а за то, что бешен; по той же причине не подставим голову под падающее бревно с крыши или запираем сумасшедшего в больницу; я думаю, по тем же побуждениям надо уничтожить и преступника — он вреден». Всегда ведь споры подобным образом кончаются. У Молотова осталось все перепутано в голове. Он и без доктора знал, что преступни-

ки — вредный народ. Это, знаете, Надежда Игнатьевна, у мужчин бывает в молодости вроде болезни — умственная немочь, как и у женщин в эти годы бывают свои странности. Заберется в голову какая-нибудь мысль и все перепутает.

«Так вот каков он был! — подумала Надя. — Однако он теперь спокоен, — значит, он решил все это?»

Как будто отвечая Надиным мыслям, Череванин сказал:

— Решил ли он эти вопросы, или просто они надоели ему, но только он их бросил. Дело в том, что Молотов мог распустить разные чувства, но не мог долго страдать головой. Болезнь прошла, как минуются и дамские болезни. Организм переработает, и кончено.

Надя думала: «Умный же человек Егор Иваныч и добрый». Она еще более утвердилась в мысли, что Молотов многое пережил и головой и сердцем, что он человек опытный и, случись с ней беда, поможет ей. И вот она решилась в следующий раз поговорить с ним от души... Многое хотелось ей спросить. При ее боязливости высказываться, которая раз-

вилаась оттого, что она потихоньку, не говоря никому, обдумывала многие вещи, Надя, очевидно, не могла заговорить откровенно с Череваниным, хоть и он, как Молотов, выделялся из круга ее знакомых и знал жизнь не ту, которая была ей знакома. Откуда она, замкнутая в своем кругу со всех сторон, узнала, что есть иная жизнь? Вычитала, со слов Молотова догадалась, или подсказало ей собственное сердце?

— Однако чем же кончил Егор Иваныч? — спросила она.

— Относительно вопросов — хорошо. К людям он остался снисходителен, но не к себе. Доктор был самый умный человек в городе и ничего ему не разъяснил. Тогда он сказал себе: «Я должен, сам должен, своим опытом, своей головой дойти до того, что мне нужно. Люди не помогут; да и требовать, чтобы они в твоей голове уложили твои же противоречия, — несправедливо. Всякий сам для себя работает. До сих пор меня учили, теперь я буду учиться. Великое дело — своя мысль, свое убеждение; это то же, что собственность. Только то и можно назвать убеждением, что

самим добыто, хоть бы добытое было и у других точно такое же, как и у меня. Я сам и есть первый и последний авторитет, исходная точка всех моральных отправлений, и чего нет во мне, того не дадут ни воспитание, ни пример, ни закон, ни среда. Положим, я глуп, но глупого человека никакая сила не делает умным, — учите или бейте его, смейтесь или сокрушайтесь. И в чем я прав и виноват, во всем том я сам прав и сам виноват, а не кто-либо иной. Может быть, таких начал не лежит в натуре других людей, — я их не сужу, а в моей натуре лежит. У меня все свое, и за все я один отвечаю!» Так он развивался туго, мозольно, упрямо, и нисколько на меня не похож, потому что я думаю наоборот — я не виноват в своей жизни и не прав в ней... Меня, я говорил, что заело... Ведь у нас редко кто имеет нравственную собственность, своим трудом приобретенную; все получено по наследству, все — ходячее повторение и подражание. А Егор Иваныч хотел иметь все свое...

Надю поразила эта характеристика воплощенного упрямства того человека, который так интересовал ее, и бог знает на что она бы-

да готова, чтобы только разгадать Молотова, с которым она давно знакома и так мало знает его.

— Вот и начал Егор Иваныч поживать своим умом, — продолжал Череванин. — Первым следствием было то, что Молотова стали теснить. Он в обществе говорил неуважительно о своей благодетельнице; добрые люди довели это до нее. Вышла большая неприятность: ему предложили подать в отставку, хотя он успел прослужить всего полтора года.

— Вы знаете, что с ним было после?

— Знаю. После...

В это время раздался звонок в прихожей, и Надя с замиранием сердца подумала: «Неужели у меня есть жених?» Она вспомнила давешнего нового гостя.

Показался в дверях Игнат Васильич. Он прямо направился к Наде, подошел к ней и звонко поцеловал ее.

— Ты счастливица, моя Надя! — сказал он дочери, глядя на нее с полною любовью.

Надя побледнела. Догадалась она.

— Чего, дурочка, испугалась? — говорил

Дорогов ласково и опять поцеловал ее в щеку.

Надя молчала; у нее шумело в ушах; она переставала понимать себя.

— Голубушка моя! — продолжал отец ласкать.

— Кто он? — прошептала Надя едва слышно.

— Генерал, генерал! — ответил Дорогов с искренним восторгом, от которого трепетало все его существо.

— Какой?

— Подтяжин.

Надя слегка вскрикнула.

— Шампанского! — закричал отец.

— Я не пойду за него, — сказала Надя.

Отец недослышал.

Радостный крик отцовский разнесся по всем комнатам; прибежала жена, дети.

— Папаша, — сказала Надя, взяв его за руки, — я не хочу.

Теперь отец побледнел.

— Что? — крикнул он грозно, и послышался старый, юность напоминающий дороговский голос.

Надя обмерла...

— Полно, дурочка, — заговорил он опять ласково и весь дрожа от волнения, — полно, моя милая... Ах! (Он махнул рукой.) Что, ты от всех женихов решила отказаться? Но на этот раз дело решенное, и ты будешь генеральшей, — произнес отец твердо и прошел к себе в кабинет, хлопнув крепко дверью.

— Свинья! — прошептал Череванин, и ему захотелось ударить кистью в лицо портрета, который он подновлял.

Мать ушла к отцу. Дети смотрели с сожалением на сестру свою.

— Надежда Игнатьевна, успокойтесь! — проговорил, неуклюже подходя к ней, Череванин.

— Ах, оставьте меня одну, — отвечала Надя.

Она заплакала.

«Значит, я тут ни при чем», — подумал Череванин, и, не простившись ни с кем, он убрался восвояси.

Надя подошла к окну и облокотилась на косяк. Слезы лились градом. Наконец пробил час, когда должен был решиться главный вопрос Надиной жизни. Пришел узаконенный

муж и говорит: «Ты мне нравишься, ты хороша и умна, я буду жить с тобой...» Ей живо представился Подтяжин, Алексей Иванович... Он был в летах Надинова отца. Лицо его было антипатично. Такие лица иногда встречаются только у отъявленных бюрократов. Все двадцать лет честной формалистики отпечатались на нем. Кожа на лице была аккуратно пригната и туго натянута, и потому все черты его раз навсегда резко определены; между бровей образовалась складка; кости над щеками, около глаз, выдались выпукло; от места, где ноздря к щеке прилипла, и до края губ, направо и налево, нарезаны две черты, тонких как нити; впалые щеки лежали на широких челюстях; крутой подбородок выдался вперед. Этот форменный облик освещался из-под нависших бровей бойкими, всевидящими глазами. Взглянув на него, вы сказали бы: ни одной подчистки или помарки, будто вымыл его, выбрил, посыпал пудрой, отер полотенцем и вставил в воротнички яркой белизны тот самый писец, который готовил ему бумаги. Представьте себе, что лицо иногда улыбалось, показывая желтые зубы и

твердые десны. Росту он был среднего, с выпуклой грудью, прям и украшен орденами. Без всякой подлости, единственно точным исполнением обязанностей он достиг генеральского чина. Наде и в голову не приходило, чтобы она могла целовать это заслуженное лицо.

Когда дожил этот господин до сорока лет с лишком, он, сосчитав свои деньги, вообразил, что ему необходимо жениться. Он видел Надю несколько раз у Рогожниковых, где иногда играл в карты; Надя понравилась ему, и он сказал себе: «Ведь не откажется быть генеральшей?» Вернувшись домой, он написал своему секретарю письмо, с выставкою наверху его слова: «Конфиденциально», прося сделать от его лица предложение Дорогову относительно его дочери. Дело велось документально и чиновнически, точно генерал заботился об определении Нади на службу. Он просил поставить на вид свои капиталы, степенный характер, генеральский чин и надежды на будущие повышения. Письмо было занумеровано и внесено в число исходящих дел в домашнюю книгу. Никто не заметил в нем

никакой перемены: вчера был просто генерал, а сегодня вздумал да и сделался женихом, отдавши приказание — сократить по некоторым частям расходы. Он начал соображать, как бы устроиться попокойнее: «Пойдут дети, визг и плач начнется, а я человек деловой, мне нужно уединение и спокойствие. Всю хозяйственную часть отдам ей, уж это ее дело и будет...» Вот в это-то время он и улыбнулся.

«Что теперь делать? — думала Надя. — Нечего делать... не придумаешь ничего, и посоветоваться не с кем!» Надя чувствовала со дня на день, что около ее становилось душнее и душнее, все ближе подходили к ней неприятные образы, неотступнее предлагали свои требования, и каждый день, а теперь уж каждый час, неизбежнее становилась жизнь на заданную тему, по чужому плану, по отцовскому приказу. Давно уже хотелось Наде вон из родной семьи, хотелось жить по-своему, увидеть иной быт и иные лица, быть самостоятельной женщиной; но понятно ей было, что только жених мог увести ее из дому, лишь под руку с ним можно оставить свой те-

рем; надо кого-нибудь поцеловать, обнять, и тогда признают ее взрослым человеком, с правом самой за себя отвечать. «Отчего же я всем женихам отказываю? Что будет после? Чем это все кончится? Надо же когда-нибудь выйти замуж?» И вот Надя с усилием, с болью в сердце представляет себя женою Подтяжина. Опять в ее воображении восстает всецело зачаделое, темнообразное лицо, она уже видит в этом лице что-то доброе и строго честное, неумолимо законное, и на сердце ее мучительно тяжело. «Твоя?» — спрашивает она с трепетом и не может оторвать взоров от образа жениха... Является расчет, что она станет делать, если придется его полюбить, — надо же будет, если выдадут замуж, нести обязанность брака. Во время этого расчета в душе ее пока не мелькнуло ничего нечистого, возможности вдовства или любви к кому-нибудь помимо мужа; она обдумывала, какой долг она примет на себя. Но вот, когда она подумала, что Подтяжин может осчастливить и отца ее и всех родственников, что с замужеством ее открываются громадные карьеры, кресты, чины и награды, что она все это принесет сво-

им и потому нечего и мечтать о возможности отказа жениху — ее принудят, — когда она это подумала, ей досадно стало, она с отвращением и негодованием оттолкнула от себя зачаделый лик, хотя в это же время ясно поняла, что ей почти невозможно избавиться от Подтяжина. Да, она вспомнила грозный отцовский голос, в котором слышалось непобедимое упорство, но она не хотела больше думать о женихе и на время насильно изгнала из головы мысли о нем; она закрывала глаза, ей хотелось хоть немного забыться. Являлись мысли, совсем не идущие к делу... Душно было.

На плечо Нади легла чья-то рука. Надя оглянулась; подле нее стояла мать и смотрела на нее с удивлением...

— Чего же ты ждешь еще? — сказала она.

Надя молчала.

— Отец сердится! — прибавила мать.

Надя закрыла лицо руками.

— Неужели ты и теперь откажешься?

— Маменька, — отвечала Надя, — я ничего не понимаю! Дайте одуматься... хоть три дня...

— И ты пойдешь замуж?

— Может быть; нет, я ничего не знаю...

— Отец уж слово дал...

— О боже мой! — проговорила Надя с тоской, так что матери жалко стало свое дитя...

— Наденька, — сказала она, — что это с тобой, какая ты странная!.. Таких, как ты, я не знаю. Ведь надо же когда-нибудь идти замуж. Или у тебя есть кто-нибудь другой на примете?

Надя опустила вниз глаза.

— Ты ждешь еще кого-нибудь, кто посватается?

— Нет! — отвечала Надя и заплакала.

— Никого?

— Никого, во всем свете никого! — И плач ее перешел в рыдание.

Вошел отец...

— Через три дня ты дашь мне ответ, — сказал он Наде.

— Хорошо, — отвечала она сквозь слезы.

— А теперь спать пора! — приказал отец.

Анна Андреевна благословила дочь свою; Игнат Васильич даже и не простился с ней.

Надя не знала, что она скажет отцу через три дня — «да» или «нет»; но она решилась

теперь во что бы то ни стало поговорить с Молотовым откровенно и просить его совета. Она знала Молотова с десятилетнего возраста; он всегда был к ней добр, ласков, всему ее учил, никогда ни на какой вопрос не отказывался отвечать, — неужели же теперь он не наставит ее? Больше не на кого было надеяться. Она представила себе характер Молотова, сильно очерченный художником, и сказала: «Он все знает; он добр и на все ответит». Он так много жил, думал, страдал и теперь так спокоен, не изломан жизнью, счастлив и в то же время человек новый, свежий, мыслящий. Она понять не могла, как он разрешил тайну жизни, как он созрел и стал такой ясный для себя. Молотов должен показать ей дорогу в иную жизнь, более широкую, светлую и разумную, которую она только предчувствует, но не знает. Она расспросит его и разгадает эту, как казалось ей, необыкновенную личность, от самого узнает то, что не досказал ей Череванин. Надя заснула с полной верой в Молотова.

И все заснуло; не спит лишь Анна Андреевна. Второй час ночи, а она стоит с обнажен-

ными плечами перед иконой Божией Матери и вот уже около часу молится усердно, со слезами. «Умири ее душу, — шепчет она, — вразуми ее, укажи путь истинный, раскрой ее очи». Она плачет и дает обеты. «Пресвятая дева, услышь страждущую мать, молящуюся за несчастную дочь свою». Лицо ее бледно и истомлено бессонною ночью. Сыплются слезы на обнаженную грудь матери, и усиленнее она шепчет свои обеты. — О господи, отпусти матери эту низкую, бесчестную молитву!..

Дорого стоили Наде три срочные дня. Молотов на другой вечер не был у них. Надя как-то уже менее надеялась на него и опять готова была замкнуться ото всех; решимость высказаться пропала, хотя она и ждала Молотова с нетерпением. Она несколько раз пыталась убедить себя, что должна идти за Подтяжина; наконец она стала равнодушна к тому вопросу, отлагая решение его с часу на час. «Завтра», — думала она, отгоняя от себя навойливые мысли; но наступало и завтра, а она все не знала, что сказать: «да» или «нет»? На третий день, накануне рокового решения,

она увиделась с Молотовым. Она долго не могла найти предлога — остаться с Молотовым наедине; но наконец она сказала, что надобно привести вещи свои в порядок, и пошла в отдельную маленькую комнату, где находился ее комод. Скоро Молотов и Надя были одни, на что никогда не обращали внимания, потому что Молотов был почти своим у Дороговых. Надя сдерживала себя, так что по лицу ее едва заметно было, что с ней случились важные события; но Молотов, знавший Надю хорошо, заметил в ней перемену.

Надя вынула из ящика большой платок и очень спокойно просила Молотова помочь ей сложить его. Когда это дело было сделано, она вынимала рубашки, платочки, воротнички, ночные шапочки, клубки ниток, шерсти и гаруса, целый арсенал швейных орудий, нити жемчуга, бисер, небольшой образок, корзинку с пасхальными фарфоровыми яйцами и много других вещей...

— У вас большое приданое, — сказал Молотов.

Надя вынула шкатулку, слегка встряхнула ее и сказала:

— Вот какая я богачка!

— Не секрет?

Надя открыла шкатулку.

— Золото? — спросил Молотов, когда Надя показала на ладони пять полуимпералов...

— И серебро, — прибавила она, — а вот и старинная денежка.

— Зачем?

— Для разводу... Здесь все хорошо, — говорила Надя, выдвигая второй ящик. — Вам нравится эта материя?.. Ко мне идут темные цвета...

Надя совсем овладела собою и спокойно хозяйничала, точно душа ее не была свободна от темного образа жениха.

— Вот архив мой и библиотека, — сказала она, отворяя нижний ящик.

— Это что связано ленточкой?

— Тетради институтские и книги.

— А книги какие?

Молотов успел прочитать: «Фауст».

Надя, вспыхнула, быстро задвинула ящик и на минуту была в замешательстве.

— Подождите, Егор Иваныч, я сейчас принесу сюда шитье.

Надя ушла. Давно Надя, прочитав тургеневского «Фауста», хотела иметь гётевского, но она остерегалась почему-то спросить его у кого бы то ни было. Ей думалось, что отец назовет «Фауста» безнравственным и не позволит читать такую книгу, тем более что Дорогов с некоторого времени с неудовольствием начал смотреть на ее любовь к чтению, потому что он заметил, что дочь его чем более читала, тем становилась загадочнее. Она все собиралась спросить «Фауста» у Молотова; но в последнее время одна подруга-родственница дала ей по секрету запретную вещь, потому что и подруга и Надя не хотели, чтобы кто-нибудь знал, что они знакомы с «Фаустом». Дурного ничего нет, думали они, а все же лучше молчать. Так Надя развивалась, секретно, крадучись, никому не говоря о том. Она половину не поняла из Гёте, но все же он произвел на нее сильное впечатление. Высокое произведение поэта имело глубокое влияние на чистую душу девушки. Она с недоумением остановилась перед грациозным образом Маргариты и хотела разгадать его своим пытливым умом. Впрочем, она в последнее время как-то

недоверчиво относилась к книгам; ей не нравились эти умные люди, которые описаны в них, — ей нравились женщины. Книги теперь наводили ее только на мысль, развивая перед нею картину жизни, значение которой она хотела постигнуть и понять по-своему. Надя вернулась с шитьем и уселась около небольшого рабочего столика, Молотов поместился около нее.

— Вы читали «Фауста»? — спросил он.

Надя ближе наклонилась к шитью.

— Отчего вы стесняетесь, Надежда Игнатьевна, говорить о «Фаусте»?

Молотов решил вызвать Надю на откровенность и потому спросил ее:

— Неужели вы стыдитесь, что узнали Маргариту?

— Нет, — ответила Надя тихо, — но что подумают обо мне?

— Кто?

— Папа, вы, — кто узнает, что я читала «Фауста»...

— Боже мой, да мало ли у нас женщин, которые читают Гёте и говорят о нем, их никто не осуждает.

— Это не у нас.

— Где же?

— Не знаю.

Надя несколько оправилась.

— Согласитесь, что смешно: дочь чиновника «Фауста» читает, да и волнуется еще к тому?

— Скучно это, Надежда Игнатьевна.

— Но что делать, если смешно выходит?

— Что ж тут смешного?

— В нашей жизни ничего нет гётевского: она очень проста.

— Жизнь Маргариты была еще проще...

— Зато...

— Зато вы не встретитесь и с Фаустом...

— Но, Егор Иваныч... все же это одни слова, слова!..

Настало молчание. Егор Иваныч смотрел в лицо Нади. Она чувствовала его взгляд; во всех чертах ее явилось стыдливое беспокойство, тревога и стеснение. Она не могла долго вынести такого состояния и хотела так или иначе выйти из него. В душе ее накопилось столько сомнений, что она страстно желала откровенного разговора: хотелось хоть раз по-

говорить без покровов и обиняков, так же свободно, как говорят мужчина с мужчиной или женщина с женщиной... Она решилась, подняла ресницы, взглянула на Молотова прямо, почти спокойно; но вдруг ей стыдно, страшно стало, рука дрогнула, и в нервном движении переломила она иглу; на сердце пала тоска; краски быстро сменялись на лице, кровь прилиwała и отлиwała... Молотов видел всю эту игру жизни, и, по сочувствию к Наде, лицо его оживилось... Он ждал... Для многих женщин часто простой вопрос составляет подвиг: иного слова сказать нельзя, чтобы сейчас же не представились благочестивые лица «старших», на которых так и написано: «Она развращается!» Все теснит и сдерживает молодую душу, готовую ринуться в бездну жизни и переиспытать все, что есть хорошего на свете. Трудно было говорить Наде; но душевные вопросы давно зрели, потребность жить и любить была велика, а до сих пор она в уединении, среди живых и родных людей, одна-одинешенька, своим женским умом работала и зашла в такую глушь противоречий и сомнений, что душно и тяже-

ло стало среди самых близких людей, мертво позади и мертво впереди, и оставалось либо расспросить у всех, кого можно, что же делать осталось, где выход из ее терема и спасенье, либо броситься очертя голову в объятия назначенного свыше жениха и прильнуть розовыми устами к его зачаделому лику. Весь организм ее трепетал от дум, запертых в голове, от страха и тоски, переполнивших сердце. Но удивительно, когда Молотов сказал ей: «Надежда Игнатьевна, вы недоверчивы стали, скрываетесь от меня», она отвечала:

— Егор Иваныч, не будем говорить об этом...

— О чем? — спросил Молотов.

— О любви, о Маргарите, о поэтах...

— Но ведь вас все это мучит, я давно заметил. Легче будет, когда уясните себе эти вопросы...

— Их нельзя уяснить...

— Так хоть облегчите себя откровенным словом... Я же не враг ваш... меня вы не первый день знаете...

Надя взглянула на него доверчиво. Ей со-  
вестно стало за свою скрытность пред Егором

Иванычем, который всегда был так к ней добр и ласков, тем более что она сама же ждала его с нетерпением, чтобы спросить у своего доброго давнишнего знакомого совета... «Неужели и с ним, — подумала она, — нельзя поговорить от души?»

— Скажите же, Егор Иваныч, — начала она, — когда вы у нас слышали разговор о любви? от кого? О любви только читают да поют в песнях и романах. Никто и никогда о ней серьезно не говорит, — сколько бывает гостей, родственников, знакомых — никто не говорит. Только в институте подружки болтали, и, разумеется, вздор. Я однажды с маменькой разговорилась, так она выговор дала. Девушки мне знакомые, родственницы не верят любви, смеются над тем, кто говорит о ней. Вот и я молчу. Заставьте какую угодно девушку читать роман вслух, особенно, что ныне пишут, все эти интимные места будут выходить крайне неловко, она будет краснеть, стесняться... И мужчины всегда говорят для шутки, для красного словца, и потому, что предмет такой... дамский, что ли? Всегда разговор кончается пустяками и смехом, все это для то-

го, чтобы над нами посмеяться, делать разные намеки и чтобы время весело провести; а кто и вдастся в психологические тонкости, то слушаешь, слушаешь, как будто и дело говорят, а выйдут...

— Пустяки?

— Право, пустяки!.. Раз только и слышала, как один молодой человек, родственник, говорил серьезно, горячо, от души и, должно быть, что-нибудь умное, но так красноречиво, так высоко, что я ничего не поняла... Значит, и толковать нечего...

— Но вы разговор о любви не считаете же предосудительным?

— Нет, причина проще.

Надя, прямо взглянула в глаза Молотову, и, к удивлению, взор ее был тверд и спокоен, хотя и пытлив; на губах появилась ласковая и насмешливая улыбка, которая так нравилась Егору Иванычу. Сразу пропали волнения.

— Какая же причина? — спросил Молотов.

— Я не хочу быть книжницею, синим чулком, а хочу, как и все, остаться простой женщиной. В книжках все любовь да любовь, а в жизни ее нет совсем. Где эти страсти, — гово-

рила она, незаметно увлекаясь, — где эти клятвы, борьба, тайные свидания? Ничего этого нет на свете!

— Надежда Игнатьевна, грех вам это говорить...

— Эти свидания и невозможны в нашем обществе, потому что девицы везде и всегда на виду, каждую минуту на глазах отца или матери, дома, в гостях, в церкви. Ну как в нашем быту устроить свидания, долгие беседы, клятвы, которых и выполнить-то невозможно? Наконец, пусть все это устроить можно, так кого любить? Будто у девицы много знакомых? может она выбирать, искать человека, сходиться с людьми молодыми, водить с ними компанию? Вы, быть может, сто, двести мужчин знаете, а я? — помимо своих родственников, только четверых. И у других девиц то же. Как же тут быть?.. Из четверых непременно и полюбить кого-нибудь? Что ни говорите, а смешно выходит. Смешно ведь. Оттого и бывает так: узнает молодой или старый человек о девице — что она хороша, неглупа, воспитана, небедна, — знакомится с родителями; те то же самое узнают о нем —

вот и свадьба!

— А дочь?

— Думаете, насильно отдадут ее?.. Никогда!.. Спросят ее согласия... Иначе не бывает, я не видела, не знаю...

— Вы много не знаете, Надежда Игнатьевна...

— Женщины, — сказала Надя настойчиво и с убеждением, — женщины, которых я знаю, никогда не любили.

— Извините, Надежда Игнатьевна, это неправда.

— Да! — сказала она упорно, и в ее голосе не слышалось тени сомнения или фальши. — Да!.. я таких только и знаю и не верю, чтоб иные были!.. Они все вышли замуж очень просто, без любви, да так потом и жили, привыкли незаметно и через какой-нибудь месяц стали, как обыкновенные муж и жена...

— И ничего с ними не случилось ни до замужества, ни после?

— Ничего, решительно ничего...

— Так это не женщины, — сказал Молотов с едва заметным отвращением, которое не ускользнуло от взоров Надежды Игнатьев-

ны... Она окинула его своим взглядом, смерила с головы до ног и остановила прямо свои глаза на его глазах, отчего Егор Иваныч смутился и поневоле опустил взоры. Он был под полным влиянием Нади.

— Кто же они? — допрашивала Надя...

— Не знаю, — ответил Молотов и пожал плечами.

— Они женщины! — сказала Надя...

В голосе ее было что-то поддразнивающее, насмешливое и в то же время грустно-тяжелое...

— Эти женщины не жили никогда, а прозябали только, кормились да хозяйничали, — сказал Молотов.

— Ну да, — ответила Надя коротко и ясно, — они кормились и хозяйничали...

— И вы тоже? — со страхом спросил Молотов.

— Тоже! — И быстро она наклонила голову, едва успев скрыть слезу, которая неожиданно набежала на глаза.

Опять наступило молчание. Молотов стал ходить по комнате. Он ходил нахмурившись, весь в волнении и недоумевая, что для ней

настал какой-то жизненный переворот, что ее мучат крепкие думы, и ума приложить он не мог, как бы помочь ей, а помочь хотелось. «Тоже», — повторял он в уме ее слово, — это слово бесило его. Он остановился подле Нади.

— Вы не по летам умны, — сказал он.

Надя подняла голову; слез на глазах не было — они были слегка влажны.

— Егор Иванович, с вами можно говорить? — начала она.

— Говорите, говорите! — с заметной радостью отвечал Молотов.

— Вы умно говорите, рассуждаете. Мне не поэзии нужно, а просто понимания. Я знать хочу. Скажите, видели вы сами, как любят?

— Множество случаев знаю...

— Право?

Лицо Нади загорелось от любопытства...

— Скажите хоть один?

— У меня был приятель Негодящев; он женился по любви. Знаю, один учитель женился по любви. Знаю несколько расстроившихся браков оттого, что вмешалась любовь. В губернии я видел страшную драму в крестьянской семье — жена бросила мужа и потом

убила его. Сколько случаев! они совсем не редки...

— Неужели же все любят? неужели это неизбежно? — говорила Надя в раздумье.

— Непременно все. Правда, большая часть пошло любит — сойдутся, прогорят быстро и разойдутся; но и во всем этом есть что-то прекрасное, в самой пошлости видна особенная, необыденная, редкостная жизнь. И вы говорите, что не видели любви, — что ж тут удивительного? Поэзию жизни, любовь не так легко заметить, ее всем напоказ не выставляют, ее нужно откапывать в глубине повседневности, отыскивать, как клад, который ближний от ближнего прячет глубоко и далеко. Для всех она бывает: одними она отжита, для других не наступила, а иные любят, да не понимают, что с ними делается...

По лицу Нади пробежала какая-то новая, никогда души ее не освещавшая мысль. Недоумение отразилось во всех чертах ее.

— Скажите, — продолжал Егор Иваныч, — каково положение женщины, когда она, будучи замужем, полюбит другого?.. Вся жизнь поломана... отчего?.. От опрометчивого бра-

ка...

Надя начинала поддаваться влиянию Молотова. Она привыкла ему верить, ей так хотелось верить; но это расположение мгновенно сменилось другим; быстро пробежали в ее голове мысли: «Я невеста», «Мне двадцать второй год», «Корму, корму», «Не век жить у родителей», «Завтра ответный день». Сухо было ее выражение лица, строго, несимпатично.

— Не понимаю я вас, — сказала она, — и книги я разлюбила. Читаешь — не оторваться: такая прекрасная жизнь, горячие речи; страстные свидания — существование полное, и, боже мой, подумаешь, к чему такие книги пишутся! И точно ведь живые люди там, иногда голоса их слышишь, понимаешь, отчего они плачут и радуются, а все же не верится, никто, как там, не живет, — это обман художественный!

— Может быть, и есть любовь на свете, — продолжала Надя, немного подумав, — да только для избранных. Согласитесь, Егор Иванович, что там, в книгах, люди живут не по-нашему, там не те обычаи, не те убеждения; большею частью живут без труда, без заботы

о насущном хлебе. Там всё помещики — и герой-помещик и поэт-помещик. У них не те стремления, не те приличия, обстановка совсем не та. Страдают и веселятся, верят и не верят не по-нашему. У нас нет дуэлей, девицы не бывают на балах или в собраниях, мужчины не хотят преобразовать мир и от неудач в этом деле не страдают. У нас и любви нет.

— Так у нас гораздо хуже!

— Но как же я буду жить чужой, не свойственной мне жизнью? Надобно читать, да и помнить себя. Отчего не полюбоваться на чужую жизнь? Но как переложить ее на наши нравы? Это невозможно.

— И не надо. Неужели вы думаете жить по книге?

— О чем же и толковать? — перебила Надя. — Еще вот что я скажу. Барина описывают с заметной к нему любовью, хотя бы он был и дрянной человек; и воспитание и обстоятельства разные, все поставлено на вид; притом барин всегда на первом плане, а чиновники, попадьи, учителя, купцы всегда выходят негодными людьми, безобразными личностями, играют унижительную роль, и, смешно,

часто так рассказано дело, что они и виноваты в том, что барин худ или страдает. Пусть безобразна среда, в которой родилась я, все же она не совсем мертвая... Так или иначе, а надо отыскать добрую сторону в своих людях. Без того жить нельзя!.. В монастырь, что ли, идти?

— Много горькой правды в наших словах, но еще более ошибок, — отвечал Молотов. — Как это странно, — рассуждал он вслух сам с собою, — все это давно пережито мною и теперь не составляет вопроса... Жизнь на все дает ответы!

— Хороши ответы! — сказала Надя с горечью...

Молотов задумался. Надя своими расспросами шевельнула в его душе много старого, выжитого и давно улегшегося спокойно в памяти, как в архиве.

Он хотел продолжать речь. Но Надя решительно овладела разговором, не давая Молотову сказать слова. Она точно торопилась высказать все, что накипело в ее сердце и было выработано в уединении, под влиянием фаталистического быта. Она сегодня восставала

против всего, что говорил ей Молотов, против всех его понятий и взглядов. Егор Иваныч это чувствовал. Зрел разрыв. Первый раз он слышал от Нади многие идеи, оригинальные, самостоятельные, не под его влиянием развившиеся. Судьба круто поворачивала Надину жизнь по противоположному направлению. Ей хотелось слышать, от души, страстно хотелось, опровержений ясных, как день божий; но, увлекаясь, она не давала говорить Егору Иванычу.

— Хороши ответы! — повторила она. — Помню, я читала в одной книге, как жених говорит невесте: «Наша любовь перейдет в радости и печали, в смех и слезы, в молчанье и беседы наши. Она все осветит, всему даст смысл и значение. Она радостна и трепетна теперь, прогорит божественным огнем в свадебные дни, как лампада пред иконой, будет теплиться в глубокой старости. Она всемогуща. Кто запретит нам любить? отец? закон?.. Всякая власть бессильна пред любовью, всякая власть преступна». Пусть так, — прибавила Надя, — да запрещать-то нечего. Из четверых не выберешь...

— Если же рано или поздно придет пятый?

— Если же никогда он не придет?.. и будешь разборчивой невестой — тоже невесело...

— А если придет во время замужества?

— Что ж делать, когда это неизбежно?

— Как же выходить замуж, когда можно полюбить другого?

— Никто этого не знает. Право, как вы странно рассуждаете: в браке видите преднамеренную недобросовестность, расчет на имя и деньги мужа и на любовь кого-то другого, какого-то пятого. А бывает совсем не так: соглашаются два порядочных человека на семейную жизнь, романической любви вовсе не предполагается, ее нет и в свадебном обыске — вот и все! Если же и случится что после, — никто не виноват!.. Пускай!

— Господи, фатализм какой!

— Что же делать, если это неизбежно?

— Удивительная покорность!

— Не покорность, а неисходность.

— Нелепо же после этого положение женщины!

— Положение и браните; может быть, лег-

че будет, а нас-то за что?

Молотов не знал, что отвечать.

— Все примиряются с действительностью, — сказала Надя, — как бы она ни была тяжела, даже любят ее, потому что жить всякому хочется...

Молотова задело за живое, так что он вспыхнул, точно порох, и опять поднялся со стула...

— Примирение? — сказал он раздражительно. — О примирении заговорили?.. Лучшего и выдумать нельзя?.. Нет, Надежда Игнатьевна, можно жить нашей так называемой действительностью и не знать ее, ото всех замкнуться и никого не допустить до души своей. Можно иметь понятия, которых никто не имеет, и не заботиться, что пошлая, давящая действительность не признает их. Можно весь век ни одному человеку на свете не сказать, чем вы живете, и кончить жизнь так. Я в своем кабинете царь себе. На голову и сердце нет контроля...

Надя слышала в этих словах того человека, каким представлялся Молотов в характеристике Череванина; но она с каждой минутой

становилась упорнее. В ее напряженном воображении стояли грядущий жених и родительские лица. Вопрос судьбы ее распался на двое: либо в будущем — дева, либо завтра — невеста. Она с насмешкой отвечала:

— В голове да сердце и останется.

— А! — сказал Молотов с досадой и отвернулся в сторону.

Надю радовало, что она сердит Молотова. Хотелось Наде взбесить его, чтобы хоть разойтись навсегда, ей теперь все одно! «Ничего не может сказать! — думала она. — Я надеялась на него, а он на жизнь ссылается — жди от ней ответов!»

— Переломать, наконец, можно действительность, — сказал Молотов.

— Попробуйте, — отвечали ему, — я говорила, что девица имеет так мало знакомых, что и выбирать не из кого, любить некого. Как тут ломать действительность? Уйти из дому, ходить по улицам да и выбирать? Ломать-то нечего... «Кто запретит нам? отец? закон?» И запрещать нечего...

— Ждать надо пятого.

— До седых волос?

Молотов терялся.

— Высоко ваше учение, но к делу нейдет, — говорила Надя, поддразнивая, ровно, спокойно и холодно, хотя к горлу ее слезы подступали. — Внутренняя жизнь у всех может быть, но какая? Чтение книг, разговор, мечта? Неутешительно и бесплодно!

— Надежда Игнатьевна, стыдно той женщине, которая никогда не любила.

— Высоко ваше учение, — ответила она с расстановкою, — но к делу нейдет.

Она заметила, что такой тон раздражает Молотова. Она ждала опровержений и теперь думала: «Ничего он не умеет сказать, и я же не скажу ему ни одного откровенного слова».

— Но если, Надежда Игнатьевна, вы полюбили бы кого-нибудь?

— Ну, и любила бы; а не любила, так и не любила. Не понимаю, о чем тут толковать?

Иногда двое договорятся до того, что дело становится как день ясно и разговор продолжать незачем. Что может быть проще, определеннее и неотразимее такого ответа: «Ну, любила бы, так и любила бы»?.. О чем и

зачем после этого говорить? Надя хотела оставить работу и идти в другую комнату, но помимо ее воли голова наклонилась над шитьем, на глаза выступили слезы, и какая-то странная мысль глубоко внедрялась в ее отживающую душу. Она хоронила что-то, погребала. «Не у кого во всем свете спросить, никто не выручит, отец и мать не скажут, вот и Егор Иваныч ничего не знает. Я точно запертая ото всех людей, обреченная какая-то!» Слеза упала на шитье. «Это я свой девичник справляю, — думала она, — ну так что же? весело будет... денег много... комнаты большие... отцу и матери почет... родным всем помога... генеральшей буду». Слеза упала на шитье. Ясно, как человеку расстроенному привидение, представился ей узаконенный муж, солидный, степенный, точно разлинованный, с архивным номером во лбу, с генеральской звездой над сердцем, а ей не он нужен... Кто же? Еще слеза упала на шитье...

— Надя!

Она не узнала голоса.

— Добрая моя!

Она подняла влажные глаза...

— Жизнь на все дает ответы.

Это говорил Молотов.

Надя закрыла лицо руками и заплакала...

— Зачем ты такая неразгаданная?.. О чем же ты плачешь? Неужели я ошибся?.. Ты любишь меня?

Надя что-то тихо проговорила, но Молотов расслушал ее. Он, стоя сзади, поцеловал ее в голову, потом отвел ее руки от лица и поцеловал в щеку. Слезы блестели на ее длинных ресницах. В одно мгновение Надя так похорошела и просияла, что Молотов не подумал повторить поцелуй, а просто загляделся.

— Я люблю тебя... давно... — прошептала она и прижалась крепко к наклоненному лицу Молотова.

Тогда он поцеловал ее снова. Надя засмеялась сквозь неостывшие слезы детски радостным, трепетным, тихим смехом.

— Не надо ждать до седых волос, — проговорила она.

— Добрая моя...

Они сидели долго молча...

— Увидишь ты, Надя, что можно жить так, как хочется, не спрашивая ни у кого позво-

ления, никому отчета не давая. Можно так жить. Я хочу. Вот она, жизнь, и дает ответы.

— Да, — прошептала Надя...

— Я на днях буду свататься...

— Завтра, завтра! — заговорила Надя стремительно. — Скажи им, что ты жених мой, что я поцеловала тебя — вот так! — сказала она, обнимая его...

— Завтра! — повторила она, оторвалась от Молотова, вышла в другую комнату и скрылась.

Молотов отправился домой; но он не усидел дома, несмотря на позднее время, и часу во втором вышел на улицу. Глубокая осень. Все спало; лишь звонко где-то щелкает копытами верховой конь да с медленным визгом, проникающим в душу, запирается железная дверь. Он вышел на Невский. На башню Думы луна наложила углами, квадратами и длинными полосами белое серебро. Небо легло над домами широкой дорогой; оно густо-синее, чуть не черное; и на этой дороге горит и смеркается много звезд... Спит городской; спят дворники; плетется какая-то женщина, должно быть запоздалая крыса Невского проспек-

та, — бог с ней, она завтра, быть может, насидится голодная. Туча выдвинулась из-за Адмиралтейства и медленно, тяжело плывет ко дворцу. Часовой вскрикнул далеко... Хороша ночь пред рассветом и в позднюю осень... Молотов гулял долго, пока не умаялся.

Надя весь день дожидала вечера, когда должен был прийти Молотов и просить ее руки. Она знала, что такой оборот дела будет неприятен родителям, но была уверена, что они не станут противоречить ей.

Душа ее была переполнена, но внутренняя жизнь мало проявлялась наружу; у ней не явилось даже желания разделить с кем-нибудь свою радость, тем более что не с кем было и делить ее. Мелкие, едва заметные признаки обнаруживали, что это невеста, и притом невеста, не спросясь отца и матери. Игра красок на лице, тайная слеза, запрещенный и потому сдержанный вздох, особенно теплая молитва, никогда не посещавшие душу мысли и образы — все это было трудно заметить в ней; для этого надо было знать наперед, что с ней случилось важное событие, и тогда только, припоминая лицо Нади в другие дни и те-

перь, можно было заметить, что в нем отразилась новая жизнь. В ней ходили разнообразные мысли, и душу ее освещали радости и заботы грядущих дней. Она уверяла себя, что может опереться на крепкую руку, которую предлагал ей Молотов. Но странно, в то же время, когда она уверяла себя в том, — она прислушивалась к глубине своего сердца, где шевелилось что-то смутное и тяжелое, не созревшее еще в положительный вопрос.. Она была счастливее, нежели вчера, но все около нее молчало, и в иные минуты она чувствовала холод в душе; не пропала ее привычка рассчитывать и соображать даже в эти торжественные часы жизни. Надя упрекала себя, что она не может отдаться вполне, без всяких дум, новому счастью. «Не старого же жениха мне жалко стало, — думает она, — я люблю Молотова; вот вчера, вот пять минут назад я была так счастлива, а теперь у меня холод на душе». Надя не знала, что этот холод неизбежен, когда человек решается на свободный, самостоятельный шаг: он мгновенно падает на душу при мысли, что делаешь новое, непривычное для окружающей среды дело,

что люди, дивясь, посмотрят на тебя. Одиночеством порождается этот холод, а Надя не сказала ни полслова ни отцу, ни матери и ждала с нетерпением, скоро ли придет Молотов сказать за нее свое слово родным ее... Но вот ударило восемь, а нет ни отца, ни жениха ее... Теперь в ней было заметное волнение... Ей стало страшно... Прошло долгих полчаса, и вдруг раздался благодатный звонок. Она затрепетала от радости, вспыхнула и замерла в ожидании, чутко прислушиваясь к дальним комнатам из своего уединенного уголка. Чьи-то шаги раздались в зале, кто-то вошел в гостиную. «Это он!» — прошептала Надя, и так хорошо себя чувствовала, что на минуту не усумнилась в возможности получить согласие родителей. Разговор чей-то едва проби- вался из гостиной... вот будто смех... «Верно, поздравляют?» — думает она; и трепещет ее сердце от события, которое хочет сейчас совершиться. Она точно вновь нарождается на свет, шепчет полуоткрытыми губами: «Скоро ли?», смотрит на икону Божией Матери и, вся одушевленная, сияет дивной красотой. «Боже мой, как долго они говорят!» Но что это за

крик? кто так неистово топает ногами? Смертельная бледность разлилась по лицу девушки, и на крик из гостиной она ответила своим легким криком.

— Надежда! — раздалось по всем комнатам.

Дик был голос. Надя слышала удар ногой об пол.

Надя поднялась со страхом со стула и пошла на голос. Глаза ее неясны, и походка нетверда; физическая немощь одолевала ее, хотя душа была напряжена неестественно. На щеках вспыхивали и пропадали розовые пятна. Пройдя темный зал, она в полумраке увидела подле окна группу детей, своих маленьких братьев и сестер, глаза которых были устремлены на нее. Надя остановилась на минуту перед гостиной, провела рукой по лбу...

— Надежда! — раздалось еще громче.

Надя расслушала слова матери: «Ты испугаешь маленького». И действительно, в ту же минуту заплакал ее меньшой брат, спавший в детской, в колыбели...

Надя с особенной силой распахнула двери и явилась пред отцом. Игнат Васильич был

один; мать укачивала свое дитя в соседней комнате.

— Подойти ко мне, — сказал Дорогов.

Надя, бледная вся, стояла с опущенной вниз головой.

— Иди ко мне! — повторил отец.

Она сделала шаг вперед.

Отец устремил на нее неподвижный, злобный взор. Он молчал несколько минут...

— Говори что-нибудь! — при этом Игнат Васильич топнул ногой.

Надя не знала, что ей делать. Но вот она оправилась немного, на лицо выступила краска; быстро в голове ее пробежало: «Молотову нельзя было прийти... отец спрашивает ответа... сегодня срок... я сама объявлю ему».

— Говори же!

— Папа, — начала она тихо.

— Негодница! Развратница! — перебил ее резко отец.

Надя вздрогнула, кровь бросилась ей в лицо, она широко раскрыла глаза и с изумлением посмотрела на отца.

— За что? — спросила она с негодованием.

— Молчать! — крикнул отец.

Надя опять опустила голову. Она ничего не поняла. Игнат Васильич подошел к своей дочери, положил на плеча ее свои руки и остановил на лице ее неподвижный свой взор.

— Надя, — сказал он, — гляди мне прямо в глаза.

Она не шевельнулась.

— Ну!

Надя с страшным усилием подняла глаза и посмотрела на отца. Дорогов спросил ее шепотом:

— Вы целовались?

Надя не поняла.

— Целовались? — повторил он громко.

— С кем? — спросила она.

— Сама знаешь с кем!

Но ответа не было. Страх и обида, что ее держат за плечи, сдавили ей горло.

— Молотова знаешь? — спросил грозно отец и потряс ее за плеча так, что Наде больно стало.

Опять повторился плач ребенка в детской, и слышалось матернее убаюкивание.

— Так целовались?

— Да! — отвечала Надя раздирающим ду-

шу голосом.

— Негодница!..

Игнат Васильич надавил плечи ее руками так тяжело, что Надя наклонилась к его лицу и ощущала его злое прерывистое дыхание; потом он оттолкнул ее от себя. Надя опустилась на стул, закрывши лицо руками. Она была почти в беспамятстве.

— Боже мой! — проговорил Дорогов и отошел к окну.

Настало тяжелое молчание... Мать не замолвила за Надю ни одного слова, не выбежала из детской и не схватила за руки своего мужа. Ее застарелая нравственность была оскорблена тем, что дочь ее позволила целовать себя до брака. По ее понятию, поцелуй освящался церковью и потом совершался только в опочивальне. Она дивилась и Молотову, которого считала нравственным человеком, — а он вдруг оказался соблазнителем... Гордость матери страдала: она поражена была падением дочери. Она с ужасом думала, что в ее мирной семье совершился скандал. Откуда отец узнал об отношениях Молотова и Нади, он не говорил. Он только сообщил, что

Надя — «развратница», и несчастная дочь со- зналась, что позволила целовать себя до бра- ка. «Боже мой, — подумала Анна Андреев- на, — он не первый год знаком с нами, кто их знает, что между ними было?» Она вспомни- ла, что Егор Иванович часто оставался с Надей наедине, иногда посещал их дом, когда На- дя была одна, а они уходили куда-нибудь... Страшные мысли взволновали ее сердце, она заплакала и облила горячими слезами дитя в колыбели...

Игнат Васильич никогда не уважал тех женщин, которых сам, бывало, целовал до брака и в начале женатой жизни. Он считал себя вправе пользоваться слабостями этих женщин, но в глубине души презирал их, на- зывал потерянными, вел себя небрежно, оскорбительно, насмехался в глаза. Бывало, девушка обнимает его, называет ласковыми именами, радостно болтает какой-нибудь вздор, а он смотрит острым взглядом, и едва заметная улыбка на его губах отражает пре- зрение. Женщины, истинно любившие Доро- гога (были такие), находили в таком отноше- нии к ним признак силы, могучего характера

и высшей природы, а в нем между тем не было даже и дикого «печоринства», которое выродилось бы в лице его в канцелярский тип, — он действовал просто по принципу благочиния и условной порядочности. Этим и объясняется цинический элемент в его любви к женщинам. «Настоящая женщина, — говорил он, — бережет себя; она не даст поцелуя до свадьбы». Поэтому не было никакого противоречия в том, что Дорогов чувствовал глубокое уважение к Анне Андреевне за ее моральные достоинства. До замужества, в продолжение месяца его жениховых посещений, она не позволила ему прикоснуться губами даже к руке своей. Это-то и увлекло его, это же самое отчасти и покорило его впоследствии женской власти. Когда же Дорогов привык к оседлой жизни и полюбил семейственность, он стал считать себя недостижимо нравственным господином, потому что сознал в себе не только принцип свой, но и дело, основанное на принципе. Он всегда желал дать этому принципу широкое развитие в своей семье. Дорогов был привязан к своей дочери, страстно любил ее. Представьте же, что о людях он су-

дил по себе, и вот он уверился, что нашелся мужчина, который, как он, бывало, на своих любовниц, глядел на его дочь нагло, близко наклонял к ее лицу свое лицо, рассматривал с любопытством знатока ее глаза, уши, губы, крутил ее ухо в своих пальцах, целовал ее гастрономически, держал на шее свою руку, пока она не нагреется, и во все это время глядел на нее с едва заметной улыбкой, с оттенком презрения, — представьте себе все это, и вы поймете, что он нравственно страдал за свою дочь, он защитить ее хотел, покрыть своей отеческой любовью. Отцы часто вспоминают свою юность, когда дочери любят без их позволения и согласия. Ко всему этому присоединялась страшная досада на то, что разрушались его планы, и даже он трепетал за свою будущность, если состоится отказ, потому что жениху-генералу стоит написать другому генералу, у которого он служит, и Дорогова выгонят вон из службы. Он не знал, что делать: оскорблена была в нем нравственность семьянина, была опасность для его и служебной карьеры, — и до этого доводит его дочь! Он поднялся со стула и подошел к Наде...

— Надя, — сказал он без крику и злости, но холодно и твердо, — ты выбросишь из головы Молотова. Я за тебя гибнуть не стану и не потерплю безнравственности в своем доме. Молотова нога здесь не будет! Ты с ним никогда не увидишься, — это мое святое слово, ненарушимое... Мать, — обратился он к дверям той комнаты, где она была, — жена, уговори свою дочь — это твое дело; она губит и себя и нас... Надя, — обратился он опять к дочери, — я у тебя спрошу ответа на днях, будь готова...

Он пошел в свой кабинет, но в его старом сердце шевельнулась жалость к своей любимой дочери; он остановился подле нее и сказал сколько можно ласково:

— Надя, образумься...

Она сидела, закрыв лицо руками, и молчала, как убитая.

— Одумайся!

С этим словом Дорогов оставил гостиную.

Долго сидела Надя, убитая горем, оскорбленная, и ничего она не понимала. «Что же Молотов? — без смыслу повторялось в ее голове. — Откуда узнал отец?.. За что он меня назвал раз...» Этого слова она не могла догово-

ритель. И опять эти вопросы бессмысленно чередовались в ее голове. Надя потеряла способность рассуждать... Она открыла лицо. Оно было измучено, бледно; после целого дня ожиданий и радостных надежд в нем выразилось тупое страдание. Ей хотелось освежиться; она вышла и умылась холодной водой, потом в темном зале открыла форточку и облокотилась на косяк окна. Дети все еще были в зале и с любопытством, смешанным со страхом, смотрели на свою сестру... Они тоже обсуживали своим невинным умишком семейное дело. Федя подслушивал разговор у дверей и рассказал другим, что Надя целовалась и за то ее папа сильно бранил, так, как их никого не бранил... Между детьми слышался шепот.

— Отчего целоваться нельзя? — спросил самый маленький, Федя, — вот мы же целуемся...

— То совсем другое, — отвечала Катя...

— Что же?

— Так женихи да невесты целуются, — сказала Маша...

— А это худо?

— Худо...

— А что это «развратная»? — спрашивал Федя.

— Об этом нельзя говорить, — отвечали ему...

— Отчего?

— Неприлично...

— Будешь большой, узнаешь, — заметил гимназист, двенадцати лет мальчик.

— Папа у нас злой, — сказал Федя...

— Ах, какой ты! — заметили ему сестры.

— Что же?

— Так говорить не надо.

— Да, он злой!

— Надя плачет, — проговорила Маша...

— Пойдемте к ней! — звал Федя...

— Ей не до нас, — отвечали дети с удивительным тактом.

Дети, мальчики и девочки, все, кроме Фе-ди, понимали, в чем дело, знали, что такое «развратная», но их детскому сердцу жалко было своей любимой сестры. Они готовы были броситься к ней на шею, утешать ее, плакать с ней; мальчики были угрюмы, у девочек слезы на глазах...

— Пойдемте! — звал Федя.

— Не надо...

Но Федя уже был подле сестры.

— Надя, не плачь! — сказал он.

Надя заметила его...

— Ты не развратная... папа сам развратный... Я не люблю его...

— Ах, Федя, что ты говоришь? — отвечала Надя. — Отца надо любить. Папу велел бог любить...

Мальчик присмирел... Надя заметила, что дети смотрят на нее пытливо; ей неловко стало, она не хотела оставаться в зале; идти в свою комнату надо мимо отцова кабинета, а там дверь отворена; в гостиную, — но там мать. Так Надя и места не находила, где бы приютиться ей, одуматься и успокоиться... «Может быть, маменька в детской», — подумала она и пошла в гостиную... Дети остались шептаться в зале...

В гостиной сидела мать за круглым семейным столом. В руках ее была работа; но дело, очевидно, не спорилось. Делать нечего, Надя села к тому же столу. Мать слышала, что она пришла, но не поднимала глаз...

— Надя, — сказала она, смотря на шитье. Руки ее дрожали. Дорогов ничего ей не объяснил, откуда он узнал и что было между Надей и Молотовым. Она слышала, что и дети говорили: «Надя развратная»... Страшные мысли теснились в ее голове...

— Что, мама? — отвечала Надя, тоже не поднимая глаз.

— Что у вас было?

— Я сказала папа...

— Скажи ты мне, Надя, все, все...

— Я не понимаю ничего, мама...

— Вы только целовались?

Краска бросилась в лицо Нади. Оскорбление за оскорблением сегодня сыпались на нее.

— Боже мой, ты не отвечаешь? — сказала, бледнея, мать.

— Вы оскорбляете меня, — ответила дочь с горечью...

— О боже мой! — проговорила она с радостным раскаянием...

За эти дни решительно все измучились в семье Дороговых. Настало тяжелое время. Мать, а особенно отец — ковали деньги и по-

вышения на дочери. Им выпал отличный случай продать выгодно благоприобретенный, доморощенный товар, но товар был живой и не хотел идти в продажу. Теперь мать и дочь сидели в одной комнате. Надя, наклонив свою умную головку, думала, гадала. Бледно и печально лицо ее. Опять в голове ее чередовались вопросы: «Откуда узнал отец? что же Егор Иваныч? за что меня назвали негодною?» Она вникала, ловила не дающуюся сознанию мысль, и в то же время на лице ее было написано отталкивающее упорство. Мать подняла глаза. Взгляд ее остановился на дочери. Она долго вглядывалась в черты Нади. У ней сердце сжалось и заныло; слезы показались на глазах; невыносимо жалко стало дитя свое... Вдруг взгляды их встретились... Надя заметила любящий, умоляющий взор своей матери и слезу ее, упавшую на шитье. Она вспыхнула, взволновалась, кровь бросилась ей в лицо; хотела она сдержаться, но не могла, закрылась руками и зарыдала. Мать тоже рыдала. Плакали они, не говоря слова друг другу. Ни одного нежного звука не произнесено, ни одной ласки, ни тени примирения. Как

страшно плачут иные — точно у них нож в сердце поворачивается, а они, сдерживая боль, рыдают мучительно-ровным рыданием. Мать первая успокоилась. Так они и разошлись, не сказавши слова друг другу... И это было последнее событие того дня.

Наступила ночь. Все спали. Но маленькому любимому брату Нади Феде, постель которого находилась в ее же комнате, не спалось. И вот он тайком, в одной рубашонке, на босую ногу, встал с теплой постели, прошел мимо матери и подкрался к сестре. Плечи и грудь ее были обнажены, уста полуоткрыты, она жарко дышала, одеяло шелковое было сброшено до половины. Он со смущением заметил, что в ее ресницах дрожат слезы; локон, перевитый лентою, лег на щеку и был влажен, вся она, прекрасная, облита лунным светом. «Какая же она развратная?» — прошептал братишка и заботливой детской рукой закрыл обнаженную грудь сестры. Потом он тихо наклонился и поцеловал сестру в щеку, робко и осторожно. Точно от этого поцелуя, лицо ее просветлело, слеза замерла в дрожащих ресницах, и, вдруг склонив голову на влажный локон, она

вздохнула легко и спокойно. Вся тиха и счастлива, покоилась Надя, облитая лунным светом, легшим золотыми полосами по шелковому одеялу. Долго смотрел на нее брат. Но вот он отошел от постели, стал голыми коленями на холодный пол и прошептал молитву, в которой слова и чувства были ребячьи. Недолго он молился, но хорошо, лучше своей матери. На другой день мальчику очень хотелось сказать сестре, как он молился за нее, но стыдно было, неловко. Вырастет большой, расскажет. Эта молитва будет дорога ему и тогда, когда он утратит самую веру. Бывают такие в детстве молитвы.

На другой день с Надей почти никто слова не сказал. Разрушалось семейное счастье, мирное существование Дороговых. Дети при-смирели, и редко-редко, точно запрещенный, раздавался их смех и говор по комнатам. Вот уже два вечера отца нет дома, он в гостях. Надя ни разу не взглянула на него по-прежнему, прямо и открыто. Мать молчит. Надя большую часть времени проводит уединенно, в своей комнате. Много перебрала она предпо-

ложений — откуда отец узнал об отношениях ее к Молотову, и ни одно не объясняло дело удовлетворительно... Ей было только ясно, что Егор Иванович не придет к ней, потому что для него заперты двери дома. Крепко было слово отцовское: «Ты с ним никогда не увидишься»... Что же тут делать? И борьбы даже не предстоит, а остается лишь выносить гнет, тяжело налегший на молодую жизнь. Казалось, никаких событий больше не случится, а день за днем будет тянуться давящая моно—

тонная жизнь; родители будут ждать, скоро ли все это опротивеет Наде и она с отчаяния, не находя исхода, бросится в объятия генерала. «Написать к нему? — мелькнуло в голове Нади... — Но через кого передать? через кухарку?» Так тяжело было оставаться в неизвестности, что Надя решилась на этот шаг...

«Егор Иванович, милый мой! — писала Надя. — Я не понимаю, что это со мной случилось. Отчего ты не ходишь к нам? Откуда узнал папа, что я люблю тебя? О боже мой, да, может быть, ты ничего не знаешь! Меня хотят выдать за Подтяжина, генерала, а я тебя, одного тебя люблю. Мне сказали, что я с то—

бой никогда не увижусь. Никому не верь, кто скажет, что я отказалась от тебя. Папа очень сердит на нас. Мне тяжело. Дай какую-нибудь весточку, объясни, как это случилось, что делать надо, чего ждать? Я люблю тебя, ты помни это, добрый мой! Твоя Надя».

Надя дала кухарке рубль, и та согласилась отнести письмо к Егору Иванычу. Часа через два кухарка сказала, что отнесла записку, но что Молотова дома не застала и записку отдадут ему вечером... Надя ждет вечера с нетерпением. Наступил и вечер, но вести никакой не было.

— Боже мой! — прошептала она в отчаянии, когда пробило восемь часов. — Что же это?.. Одна!.. заперта от всех... живого слова сказать не с кем!

Неожиданно на помощь явился Михаил Михайлыч Череванин. Надя насилу выждала, скоро ли он сядет за работу... Михаил Михайлыч установил на станке портрет, осветил его, но за работу не сел, а огляделся около, усмехнулся своей оригинальной улыбкой и пошел в Надину комнату...

— Вам Егор Иваныч кланяется, — сказал

он Наде.

— Что он? — спросила тревожно Надя...

— Ничего... что ему делается!.. А вы-то за-  
чем, Надежда Игнатьевна, похудели?.. Стоило  
ли?

— Ах, Михаил Михайлыч, что Молотов?..

— Да не волнуйтесь. Все пустяки, Надежда  
Игнатьевна...

— Как это все случилось?

— Очень просто. Послушайте, Егор Иваныч  
просит вас доверяться мне во всем... Я вас не  
выдам... Верите?

— Верю, верю...

— Так вы и объясните, что с вами было. Я  
передам Молотову; а вам расскажу, что было  
с ним.

Надя согласилась и рассказала Черевани-  
ну. Она рада была отвести душу.

— Ваш папаша — порядочный гусь: и не  
сказал ничего... А ведь весь секрет в том, что  
он виделся с Егором Иванычем.

— Когда?

— В тот же самый день. Егор Иваныч  
встретил вашего папашу, пригласил к себе и  
сделал декларацию... Игнат Васильич объ-

явил, что есть у вас жених и что вы дали свое согласие...

— Что же Егор Иваныч?

— Разумеется, не поверил... Он просил позволения повидаться с вами; папа отвечал, что нога Молотова не будет в его квартире. Егор Иваныч два раза стучался у ваших дверей, и каждый раз ему отвечали: «Принимать не велено».

— Что же делать теперь?

— Ничего не надо делать. Эх, — сказал Череванин, махнув рукой и впадая в свой тон, — и это браки устраиваются!.. Во всем ложь, пустые слова, веселенькие пейзажики! Ведь в браке необходимо взаимное согласие и любовь. А что же мы видим в огромнейшем большинстве тех людей, которые называются «муж» или «жена»? Над ними состоялось одно лишь благословение священника, а любви и в помине нет; одних родители принудили, других соблазнили деньги... третьи женились для хозяйства, четвертые — сдуру. И это брак!

— О чем вы мне говорите?.. Разве я хочу идти за Подтяжина? Что мне делать, что делать?

— Если вы убеждены, что подло идти за Подтяжина, то и не идите за него... Вас папаша назвал безнравственной, так ли? А сам на какое дело вас толкает? Так вы и не обращайтесь на него внимания, не слушайте своих родителей... Вам-то что за дело? Сидите себе спокойно в комнате и ждите, что будет... Что они с вами сделают? Кормить, что ли, не будут? Страшного ничего не случится; выйдет, как и во всем, пошлость, над которой вы сами посмеетесь. Какая тут трагедия? Событий-то даже мало будет. В трагедиях участвуют боги, цари и герои, а вы — чиновник и чиновница; потому и роман ваш будет мирный, без классических принадлежностей, без яду, бешеной борьбы, проклятий и дуэлей... Ваше положение уже таково, что ничего грандиозного не должно случиться... В монастырь вы не пойдете, из окна не броситесь, к Молотову не убежите и не обвенчаетесь с ним тайно, — все это принадлежности высоких драм... У вас выйдет простенький роман с веселенькими пейзажиками вместо трагических событий. Зачем же худеть?.. Не надо... Теперь возьмите положение Молотова, — то же самое, что и

ваше... классического тоже ничего не предстоит!.. Ему даже делать-то нечего. Вся эта пошлая туча мимо его пройдет, она будет носиться над вашей головой... Егор Иваныч может только просить и убеждать папа? и мама?, вести с вами переписку, действовать через меня, бесноваться дома сколько душе угодно, перебирать все средства, какие употребляются людьми при связи, разорванной благочестивыми родителями, и видеть, что они неприложимы в его положении. Нечто потешное выходит. У вас не будет свидания до самого благословения родительского, которое утверждает дома чад. Словом, романчик выходит оригинальный, кругленький, в котором все вперед можно предвидеть. Главное дело, стойте себе упорно на своем; что бы вам ни говорили, как бы ни убеждали, хоть бы плакали или бранились хуже, чем до сих пор, а вы все пропускайте мимо ушей, как будто и не вам говорят. Положим, каждый день вам придется выслушивать отца или мать часа три; вы прослушайте их; пройдут три часа, и вы опять сюда, в свою комнатку. Слышали вы поговорку: «Как к стене горох»? — в этой пого-

ворке весь смысл вашей борьбы, которая вам предстоит.

— Но чем же все это кончится?

— А сейчас я расскажу последнюю главу вашего романа. Генерала вы не бойтесь: не с пушками же придет брать вас... он статский, а не военный. Носу своего он сюда до тех пор не покажет, пока вы не дадите своего согласия; папа не допустит его, скажет, что вы больны, либо что-нибудь другое выдумает, — он боится, что вы укажете непрошеному жениху двери... Вот родители и будут тянуть дело, мучить вас, вымогать согласие. Согласия вы не дадите. Наконец генерал рассердится и потребует решительного слова. Что папаша будет отвечать? Дочь не согласна... Тогда, делать нечего, позовут Молотова и благословят вас на брачную жизнь... Вот и вся программа трагедии... Все пустяки в сравнении с вечностью, Надежда Игнатьевна...

— Скажите же Егору Иванычу, что я буду ему верна, как бы мне тяжело ни было...

— Да вы не худейте, Надежда Игнатьевна.

— Боже мой, как все это пошло, грязно, низко! — проговорила Надя с отвращением...

— Что ж тут удивительного? Так тому и следует быть...

Надя наклонила голову и задумалась...

— Вот что, Надежда Игнатьевна, — сказал Череванин, — мне надо иметь предлог быть у вас. Для этого я начну ваш портрет...

— Хорошо...

Череванин ушел в зал. У Нади после речей Михаила Михайлыча пропали страх и отчаяние; но их место заступила скука и апатия. Лениво пробиралась игла по краю платка; голова рассеянна. «Скоро ли все это кончится?» — думала она. Очень хотелось Наде увидеть Егора Иваныча, который был всегда их вечерним посетителем, к которому она привыкла и которого так любила... Она не знала, куда деться от тоски, когда представляла себе, что, быть может, еще целый месяц пошлой скуки и томления впереди...

Череванин, возвращаясь домой, бормотал себе под нос: «Вот оно, любовь осветила и взволновала наконец это болотце... романчик начинается с веселенькими препятствиями... Право, препотешно жить на свете!.. Но что, если благочестивый родитель вздумает при-

пугнуть ее проклятием и лишением вечного блаженства, — устоит ли Надежда Игнатьевна? Против воли отца и матери редко кто устоит. Сколько бы проклятий рассыпалось у нас на Руси, когда бы все захотели выходить замуж по своему выбору. Отчего это не запретят проклинать детей своих — запрещено же их убивать?.. Запретят!.. еще пустое слово: запрет ни к чему не ведет. О, будьте же вы прокляты сами, проклинающие детей своих! Нет, я не допущу Надю испугаться даже и проклятия. Я им всем нагажу!.. из любви к искусству нагажу!.. А, ей-богу, весело жить на свете!»

Через три дня, которые прошли по той программе, которую начертил Череванин, настал праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи. Надя была именинница. На Руси празднование именин вытекает ныне совершенно не из религиозных причин. Едят, пьют, сплетничают и танцуют не во имя патронального святого, а потому что случай такой вышел. Приходят гости, поздравляют с ангелом, а сами и не думают об ангеле. Обычай справлять именины многими остав-

лен, — напрасно: отчего под предлогом «ангела» хоть раз в год не покормить родню и знакомых? Дороговы держались этого православного обычая: обряд именин совершался у них с особенным торжеством. На стенах зажжены канделябры, сняты чехлы с мебели, постланы парадные ковры по полу. Шелк, бархат, тончайшее сукно на гостях; дети в праздничных рубашках, дорогих сюртучках и курточках, которые надеваются всего раз десять в год. Таинственный и степенный шум платьев, светлые лица, общая предупредительность и утонченная, несколько деланая деликатность — все это дает торжественный тон именинному дню и заставляет искать какого-то особенного смысла, которого, может быть, и нет на деле. Надя принимала поздравления; люди в летах желали ей хорошего жениха, молодые — просто счастья. Она ходила по зале под руку то с одной, то с другой девицами-родственницами и так смотрела печально, точно просила пощады... В сердце ее разрушена была вера в своих, потерян смысл окружающей жизни, и постигла она слово: «ПОШЛОСТЬ»...

Гостей было человек сорок. Череванин, на этот раз во фраке и отличном белье, стоял подле играющих и дожидал случая переговорить с Надей. Он интересовался не игрой, а игроками, злобно размышляя о них: «Ведь это не простые игроки, это — артисты. Я знаю вас вдоль и поперек!.. К рефетам, табелькам, мелкам и разным мусам они чувствуют родственное расположение. Играют они не столько для выигрыша, сколько из любви к искусству; у всякого своя система игры, свой стиль, предания и предрассудки; у них образовался свой язык: известны всему крещеному миру «пикендрясы», «не с чего, так с бубен», «без шпаги», рефет они называют «рефетцем», бубны «бубешками», разыгрывают «сотенку», пишут «ремизцы», а не то дерганут «всепетое скуалико», десять бескозырных вносят в календарь на том же листе, где можно встретить: «Надо помянуть раба божия Ивана», пульку не доигрывают, а «доколачивают»... Какие рожки солидные!.. А, вот и засмеялись!»

— Чего же, господа, смеяться? — говорил Макар Макарыч.

— Как вы тузика-то просолили!

— Со всяким может случиться несчастье.  
Настает тишина.

Макар Макарыч злится, мрачно выглядывая исподлобья, но вдруг, спохватившись, что это нехорошо, старается насильно улыбнуться; одолел себя, улыбнулся, но краска все-таки пробилась на щеки, и он, глядя в глаза счастливой партнерке-даме, думает крепкую думу: «Так бы и швырнул тебе колоду в лицо!»

— Восемь черви! — объявляет дама.

В душе Макара Макарыча поднимается страшная возня, роются тысячи мелких чертенят — пошлые страстишки, дрянной гнев, ничтожные заботы и злорадованьице.

«Ишь ты, — думает он, — улыбается!.. глаза закатила... господи помилуй, как плечом-то она поводит!» И не может понять Макар Макарыч, что он сам не может воздержаться, чтобы не отразилась на лице его игра карт...

— Что, душенька? — спрашивает, подходя к нему, любящая жена...

— Ничего не идет, — отвечает тоскливо Макар Макарыч.

— Попробуй, душенька, писать столбиками.

— Пробовал, — ничего не выходит.

Жена вздыхает печально...

— С твоим приходом еще хуже; уж ладно, душа моя, оставь меня...

Счастливым партнер — дама, долженствующая, как говорит Череванин, «смягчать мужские нравы», но в душе ее ходят преступные надежды.

«Подождите, господа, — думает она с замиранием сердца, точно любящий юноша треплет ее по старой щеке, — подождите!.. на моей стороне праздник!.. Я вас сегодня всех беру!..»

Третий партнер, доктор, серьезно играет; перед ним Касимов — мальчишка. Он изучает игру; на туза смотрит с таким же благоговением, как на генерала, а семерка в его глазах что-то вроде чиновницы в стоптанных башмаках. Доктор в преферансе служит делу, а не лицу; для него важны карты, а не партнеры. Он никогда не злится и торжествует только при открытии какой-нибудь трефонной комбинации или бубнового закона... Макар Макарыч — практик, доктор — философ, а дама смягчает нравы того и другого; в ней оли-

цветворилась золотая середина...

Но что выражает собою четвертый партнер? Выиграет он — ничего, и проиграет — ничего: ему все одно. Это факир индийский. Сидит факир, и вот мимо его носу пролетела муха, жук ползет в траве, в брюхе ворчит, восходит солнце; он погрузился в созерцание всех этих явлений. Зачем они? какой их смысл? Ему, добродушному, нет дела до того. Так и он остановится иногда на мосту, подле портомойкой, и смотрит во все стороны: там щепочку несет, в другом месте пук соломы, бревешко, у пристани всплеснуло что-то, бабы моют белье; он созерцает все это, наконец надумается и плюнет в воду; плювок ударится под мостом, даст круг от себя и отразится широчайшей улыбкой на его роже, которой не прикрыть и поповской шляпой... Он не наблюдает, а просто глазеет, глаза пялит; это объективнейшая голова; он служит искусству для искусства. То же самое у него и в преферансе. «Ишь, как моего тузахватила!» — думает он, и это его не тревожит: ему дайте только полюбоваться, как его тузахватили. «Вон как выходит!» — рассуждает он, объек-

тивно глядя на дело и ласково улыбаясь...

— Веселенький пейзажик! — шепчет Череванин. — Подождите, я вас разоблачу перед Надей...

Он читает по их лицам, как по книге... У Череванина, всегда верного своей профессии, явилось желание — опозлить окончательно в глазах Нади ее родню.

«До сих пор, — думал он, — Молотов только идеалы ей рисовал; он не касался этих лиц; но он мне поручил следить за ходом дела, и я не опущу случая — потешусь...»

Череванину хотелось переговорить с Надей; но Надя была с девицами... Михаил Михайлыч ходит из угла в угол: осмотрел все цветы, картины, щипнул кота, выпил воды стакан.

«Этакая скука! — думал он. — Нет, Егор Иваныч очень снисходителен к этим людям. Он сумел их всех оправдать; и я не обвиню, а только выставлю в настоящем свете... Он говорит, что я вижу одну сторону, что здесь внешняя жизнь освещается внутренним огнем, какими-то неуловимыми стремлениями, улегшимися в форму обыденной жизни, без

порывов, страстей и великих событий. Но вот я разберу эту внутреннюю жизнь и покажу Наде неуловимый ее огонек! Раскроем же перед Надей книгу скучного существования, бесцветной жизни человеческой — пусть поучится!»

Наконец Надя осталась одна. Михаил Михайлыч воспользовался этим случаем и увлек ее в сторону от гостей, к окну. Первый вопрос Нади был о Молотове. С тех пор как Надя дала слово Егору Иванычу, она говорила свободно, не стесняясь, о таких предметах, которые до того казались ей крайне щекотливыми. Впрочем, ей и некогда было разбирать, что прилично и что неприлично: она ловила вести и советы на лету, потому от художника часто выслушивала речи, каких никогда не слыживала; притом и на Череванина она смотрела как на человека, которому все равно и который усердствовал единственно из любви к искусству. На вопрос Нади о Молотове он отвечал:

— К нему недавно сваха приходила.

— Зачем?

— Предлагала семьдесят тысяч приданого

и руку вдовы, купчихи...

— Что же он?

— Я советовал не упускать случая. «Тебе же, говорю, добру молодцу, на роду написано счастье — жениться на молодой вдове. Не сумел ты, добрый молодец, изловить белую лебедушку, так сумеешь ты, добрый молодец, достать серу утицу».

— Вы все шутите...

— Вот и он сердится, а свахе читал целый час проповедь о безнравственности ее профессии — думает и дело делает.

— Скоро ли всему этому конец?

— К чему торопиться?

— Да тяжело ведь...

— Так что же? Вот мне всегда тяжело, а не тороплюсь...

— Вы все о себе...

— Ну, давайте о других... Знаете ли что, Надежда Игнатьевна, у меня есть довольно веселая мысль — познакомить вас с нашей родней.

— Я давно знаю ее, — отвечала Надя с досадой.

— Нет, не знаете. Например, вон сидит на-

ша Марья Васильевна — страстное, нервное, мечтательное существо с теплым духом и слабым телом. Посмотрите, какое у нее сквозное лицо: синие жилки ясно выступают на лбу, ноздри бледно-розовые, губки всегда открыты. Это единственная сантиментальная девушка в нашей родне. Она любит все грандиозно-поразительное, например, удар пушки, колокольный звон, барабанный бой. Она просила меня нарисовать ей картинку в альбом; я изобразил ей всадника, упавшего с лошади; узда оборвала ей губы — мясо самое красное, с кровью; у всадника рука сломана. Она очень благодарила меня за то, что я угадал ее вкус. Вот подите-ко расскажите этой дохленькой барышне про ее жениха. Вы его знаете?

— Да.

— Нет, не знаете этого благопристойного юношу, у которого так гладко выбриты щеки и снята всевозможная пылинка с платья. Кажется, ничего нет замечательного в этой личности — тысячи таких: но всмотритесь попристальней, вы увидите много особенностей, ему только принадлежащих. Попихалов человек веселый, покладный, услужливый —

так ли я говорю? Он душа дамского общества и мастер каламбурец запустить, личности ничьей не коснется, остроумия нет в его речах, а так, легкий оттенок чего-то легчайшего, получающего свою миловидность от мягкости прононса, поворота головы, умения придать телу то или другое положение, от особенной манеры держать двумя пальцами папиросу, от искусства вовремя крикнуть, поддакнуть, подпереть рукой щеку. Он глуп, потому что никогда не сказал умного слова; но он умен, потому что никогда не сказал глупого слова. В этом и состоит вся прелесть его юмора. Ведь прекрасный человек?

— Это все я знаю, и как все это скучно...

— Потому что самого веселого не знаете...

Попихалов ест сытно, одет хорошо, живет в уютной квартирке, а между тем жалованья получает всего семнадцать рублей в месяц. Объясните же это существование. Этот мягонький господин просто-напросто мелкий воришка...

— Неужели? — спросила Надя.

— Он всюду умеет втереться, а у нас даже в женихи попал. Редкий день Попихалов не бы-

вает на похоронах, свадьбе, именинах или крестинах, потому что любит жизнь хорошую и потому что в гостях очень удобно совершать разные экономические операции; например, он курит одну вашу сигару, а отвернулись — другую он прячет в карман; берет по шести кусков сахара, конфет вдвое более других, а не то стащит и гривну со стола. Со службы государственной, из департамента, он носит домой сургуч, бумагу, перья, веревочки, потому что в его чине больше нечем взять с казны; дома у него копятя кости, гвозди, битое стекло и тряпки, которые он пускает в продажу. У него тысячи мелких оборотов. Например, он записался в библиотеку, выписывает иллюстрированные издания, картинки вырезает и продает их, а иногда цапнет и всю книгу. И вы думаете, что он считает себя негодяем, что ему стыдно, совесть его мучит? Он с особенным, непонятным для нас чувством относится к чужой мелкой собственности... Это не воровство, а пользование чужим без спросу. Он льстит, подличает, кланяется и крадет неумолимо, с сознанием своих достоинств, цели и сил. Так уже устрои-

лась его совесть. Он никогда не действует против своего убеждения, а убеждения святы.

— Какой он негодяй! — сказала Надя.

— Зачем сердиться? Он не подлец, а дурак, житейская бездарность. Для честной жизни нужны высокоразвитые умственные способности, — иначе как человек примет противоречие между своей бедностью и богатством других? Дураку не докажешь, что деньги надо приобретать трудом. «Нет, — говорит он, — это не расчет!» Для глупца труд представляется нелепостью, когда другие без труда богаты: нужно иметь довольно сильное логическое развитие, чтобы выйти невредиму из путаницы житейских фактов. Много надо иметь ловкости, чтобы достать честно копейку. Не корми меня живопись, я, право, кажется, умер бы в нищете. Для чести нужен ум. За что я уважаю Егора Иваныча? Мне нравится в нем эта логическая крепость, изворотливость, гибкость ума, знание множества средств, умение найти практические и в то же время честные приемы... А Попихалов — дурак!

— Что же вы не предупредили о Попихалове?

— Кого?

— Родных.

— Зачем?

— Странный вопрос!

— Пусть их блаженствуют. Дохленькой девице такого и нужно. Попихалов в ее вкусе: она, кроме барабанного бою, любит веселости легкие и рассказы о бешеных волках, пожарах, вертящихся столах и т. п., к чему склонен и Попихалов. Лет через десять он разбогатеет, и они будут проживать в счастье.

— Но ведь она ваша родственница?

— Так что же? я-то чем виноват? И все они родственники, и всех их хочется разрисовать: кого зеленой краской, кого желтой, а кого просто грязью... Надежда Игнатьевна, меня кладбищенство сегодня мучит. Дайте мне поговорить, потешиться.

— К чему?

— Так, без всякой причины.

— Не понимаю я вас.

— И не надо понимать. Я просто люблю говорить — вот и все... Посмотрите на наших дам: как они высоконравственны, как они возненавидят вас за любовь без позволения

отца и станут презирать за отказ генералу! Они уверены, что их целомудрие никогда не нарушается, — и справедливо: оно расходует-ся по мелочам. Дело в том, что наши дамы любят обнажаться: выставить, например, локоток — на, вот, смотри, какое у меня белое, нежное, хорошо рощенное тело; отстегнут, как будто само отстегнулось, крючочек на груди; сядут, — кринолин в сторону, а ножка в белоснежном чулке режет глаза, и этрусские красоты приводят смертного в трепет. Это дамы занимаются экспериментами; они репетируются к свадьбе. И как они, обнажаясь, умеют прилично держать себя! Все у них выходит ненарочно и нечаянно, все само отстегивается, а сами, разговаривая и невинно улыбаясь, бросают меткие взгляды, запоминают позы, замечают, какой оборот или полуоборот производит искомое впечатление. Вон Таня подбежала к окну, наклонилась, нюхает цветок, а сама отпахнула шелковый рукав и откинула грациозно ножку... Как мило выходит! Вот нам, мужчинам, и приходится служить снарядами для опытов этих красивых девиц.

Череванин едва не сказал: «А ведь много есть из нашего брата артистов по части взглядывания во все открытые места на дамском бюсте», — но, заметив, что Надя стесняется слушать его бесцеремонную речь, не решился сказать такую вполне определенную фразу. Ее ухо не приучено было к резкостям. Молотов, относясь отрицательно ко многим явлениям жизни, редко употреблял в разговоре с нею цинические краски; но зато рельефно очерченные образы художника впечатлевали в ее душу отвращение к окружающим лицам, нагоняли скуку, торопили скорей вырваться из заколдованного круга, за пределами которого стояла неизведанная, полная какого-то глубокого и широкого смысла жизнь с Егором Иванычем... Так ей казалось; она верила в Молотова...

— И вот наступит вождеденное время, — продолжал Череванин, — добрые родственники общими усилиями, при пособии экспериментов, найдут жениха; он носит подарки, его травят, но не дадут поцелуя до свадьбы. Наконец запоют «Исайе, ликуй», настанет и пройдет медовый месяц, и наши дамы стано-

вятся специалистками в семейной жизни, устраивают хозяйство, прибирают мужей к рукам — и можете видеть второй экземпляр маменькина счастья. Стремления ограничиваются куском хлеба, квартирой, бельем, посудой и тому подобными принадлежностями. «Сыт, обут, одет — чего же еще?» Какая-то незримая сила провела этот принцип через жизнь честных людей крепче всех других принципов, легших в основание их жизни. «Сыт, обут, одет»? — как это просто и успокоительно! Посмотрите, что здесь совершается? Ведь все это заведено однажды навсегда, усвоило известные формы, да так и замерло в них. Какие неувлекающиеся, бесстрастные, сознающие свое достоинство лица! Какая крайняя благопристойность, гладко выбритые рожи, казенные улыбки, легкие походки и отсутствие всякой живой мысли! Долго ли понять эту бедненькую внутренним смыслом жизни? Она вся как на ладони. У этих людей ничего нет своего, нет нравственной собственности. Все это ходячее повторение и подражание. Вон идет господин, — что у него своего? Походка отцовская: он животом вперед, и ты

туда же; улыбнулся ты — точь-в-точь сестра старшая; говоря, тычешь пальцем в воздух — твоя бабушка так тыкала; речь пересыпана поговорками — это взято у товарищей, учителей, родных. Сказал ли ты хоть одно свое слово, сделал ли что по-своему, хоть дрянь какую-нибудь? Что бы ни делали эти люди: смотрят ли они на закат солнца, едят ли горячие щи, богу ли молятся или хоронят отца, — и мысль, и слово, и смех, и слезы — все у них получено по наследству; и добродетели у них не свои, и пороки не свои, и ум чужой. Что же ты такое, эй ты, честный человек? Где твоя личность, индивидуальность, где твой талант, прибавил ли ты хотя грош к нему? Недолго надо пожить с ними, чтобы понять, что эти люди будут думать, говорить, делать в том или другом случае. Хотите, я расскажу все, что здесь случится сегодня, о чем будут говорить, чему смеяться? Эта жизнь для меня давно прочитанная книга — скучная книга!

— Скучно же вам бывает в гостях!..

— Нет, ничего. Посмотрите, Надежда Игнатьевна, на Анну Михайловну. Видите, какая она молодая, красивая дама, с чудесной каш-

тановой косой и голубыми глазами. Она целый час сидит, не переменяя положения: кушает яблоко, легко-легко улыбается, поднимает ресницы и, обмахиваясь платком, изредка обнаруживает прекрасные белые руки. Ведь это воплощенное изящество? Вот я вам и хочу показать, что я знаю, чем она занята и что чувствует. Она сидит в своем прекрасном платье, лучших браслетах, серьгах и кружевах и блаженствует. У нее теперь особого рода ощущения — праздничные, парадные, которых не всякий и поймет. Она чувствует на себе новое платье, золотые браслеты, ловко надетую ботинку; если прибавить к этому, что она в обществе, то есть на стенах горят канделябры, вокруг торжественные лица, в руках десерт, то вы поймете ее эстетическое довольство — это ощущение новой пары и парадности. Такое ощущение продолжится весь вечер. Когда дома платье снимется, тогда только начнется обыденная жизнь, проза — а теперь поэзия...

Вечер шел своим чередом. Под руководством художника в глазах Нади все приняло иной вид. Она тосковала. «И нечего делать, —

думала она, — ждать надо, как день за днем тянется это скучное существование. Утешают, что борьбы не будет. Лучше борьба, нежели эта мертвая, давящая неподвижность». Череванин окончательно испортил ей именинный день. Многое, чего бы она не заметила прежде, теперь само бросалось ей в глаза. Она отошла от Череванина прочь без всякой цели, дожидаясь, скоро ли кончится вечер, стала ходить из комнаты в комнату, от одной группы гостей к другой. Она остановилась подле почтенных дам, среди которых старичок повествовал о своем ревматизме, который уже десять лет назад излечен. После него другой старичок сказал: «Вот у меня тоже мозоли» и развил целую историю о мозолях. Анна Андреевна сообщила о зубных болях, поносах, корях и кашлях своих детей. Видали ль вы умиленную картину, когда юноша сидит среди старух, припоминающих за всю свою многострадальную жизнь, как их стреляло, кололо, тошнило, тянуло, ломало и коробило, и когда юноша того только и смотрит, как бы вырваться из кружка старух? В таком положении был молодой Касимов. Надя и без ком-

ментариев Череванина поняла, что все это очень скучно. Только подобные явления и останавливали ее внимание, а других точно и не было. Вечер близился к концу. Наде хотелось уединиться; она пошла в детскую... И дети, которые незадолго играли шумно и весело, теперь утомились, вяло ходили друг к другу в гости, устраивали школу, венчались и т. п. Надю везде преследовала скука.

— Ты будь маменька, а я — папенька, — говорил один мальчик.

— Нет, я буду нищая...

— Лучше — маменька...

— Нет, я буду нищая...

— Братцы, не принимать девочек! — сказали мальчики...

— И не нужно... Пожалуйста... и без вас весело...

— А не будет весело!

— А будет!

— Не будет!

— А будет!

— Никогда ты не переговоришь ее, — сказал Володя, — уж девочка ни за что не отстанет, а то еще заплачет...

— Ох, уж и мальчиком тоже хорошо быть...  
Я бы ни за что...

— А девочки-то?.. в передничках... плачут  
всегда...

— Мальчики не плачут?

— Уж вот никогда!.. «Ах, маменька, букашка!» Ох вы, народ!

Надя примирила детей и опять пошла в зал, к гостям. Она взяла под руку дохленькую барышню и стала ходить с нею по комнате... Целые полчаса она слушала ее рассказы о жене, Попихалове. Наконец она ушла в свою комнатку и в изнеможении упала на стул. Надя была измучена, утомлена своими именами. «Скоро ли кончится вечер? — думала, — скоро ли ночь? Хоть заснуть бы!» Потом ей уж и думать ничего не хотелось; пусто было на душе. Долго она еще сидела в тяжелом полузабытьи...

Надя не слышала, как загремели стулья, преферанс кончился и настал последний час праздника...

В зале шел оживленный разговор между игроками, столпившимися около стола с закусками и винами.

— Не нужно допускать обмолвок, — говорил доктор. — Вы, Макар Макарыч, говорите про себя в задумчивости: «нет» и объявляете простой преферанс, и вот слева — пас и справа — пас. Вы запугали игроков, а потом смеетесь? Серьезная игра должна совершаться молча, допускается говорить только технические слова игры. Даже такие фразы: «А вот я вашего туза побоку», — зачем они? Они отвлекают игроков и мешают, так сказать, систематической игре... Я двадцать три года играю; я помню тысячи фактов и приобрел некоторую опытность в деле; это составляет мою систему — понимаете? После игры я вспоминаю все свои выходы, взятки, риски, все комбинации преферанса и потом соображаю: как, что, почему? Пища для ума; я занят день, неделю, дохожу до новых соображений. А разные обмолвки мешают делу.

— Господа, положить за правило — молчать во время игры, — сказали партнеры.

— Назначить ренонс!

— Двойной!

Доктор, подозрительно осмотревшись во все стороны, показал знаком, чтобы игроки

подвинулись к нему. Игроки стеснились около доктора, и он сказал шепотом:

— Вот что, господа, баб не принимать...

— Ну их к черту! — ответил Макар Макарыч.

— Только киснут — никакого риску!

— Пусть составляют бабий преферанс!

— Преферанс и дело не женское, — это не то, что чулки вязать, — заключил доктор.

— Вот что, — сказал он, возвышая голос, — по-моему, не выигрыш в две копейки лишь интересует игрока. Плата есть премия за искусство, а с другой стороны, гарантия серьезности дела: чем выше цена, тем внимание напряженнее.

«Вот оно! — думал себе Череванин, закусывая среди игроков. — Теперь наступит гробовое молчание за зеленым столом, будет совершаться мистерия, будут выработываться бубновые принципы и червонная нравственность. Ведь это развивается жизнь по своим законам, растет и видоизменяется, — это шаг вперед, как выражается Егор Иваныч...»

За ужином случилось событие, которое показало, что Череванин ошибался, когда гово-

рил: «Я могу рассказать все, что будет сегодня».

Надя сидела среди молодых девиц и рада была, что кончается день. «Еще несколько таких дней, — думала она, — и конец моей неизвестности». Отец часто останавливал свой взор на лице Нади, и в глазах его отражались попеременно то ненависть к дочери, то сомнение в чем-то. Он хотел заставить Надю единственно силою своей воли — поднять глаза; но она не чувствовала влияния его взглядов. Анна Андреевна с изумлением видела, как муж налил себе уже пятую рюмку вина. Многие гости заметили, что Игнат Васильич как-то особенно недоброжелательно смотрит на дочь-именинницу, и не понимали, что это значит. Подали шампанское.

Дорогов, с заметной для всех бледностью в лице, встал со своего места, поднял бокал, сухо и строго проговорил тост:

— За здоровье нашей дорогой именинницы и нареченной невесты...

На минуту все смолкло. Потом с страшным криком принят тост.

Надя окаменела. Она не ждала такого уда-

ра.

— Кто жених? — раздался в массе говора чей-то громкий вопрос.

Опять все стихло.

— Его превосходительство Алексей Иванович Подтяжин.

Настала мертвая тишина. Эффект был чересчур силен. Трепет пробежал по всему собранию. У Нади же в глазах помутилось и в голове стучало. Около нее столпились гости с бокалами в руках. Бледная, как полотно, она смотрела на отца и готова была упасть. Все заметили ее волнение, смертельную бледность и отчаяние, которое выказалось во всех чертах лица. Мать, видя, что Наде дурно, подошла и сказала: «Что с тобой?» Череванин ей шепнул с другой стороны: «Решайтесь, говорите, что бог на душу положит... Объявите Молотова». Надя едва расслушала его, сжала свои руки, так что суставы хрустнули в пальцах, и опустила голову на грудь. Страшно ей. Больше ста глаз смотрят на Надю, и в иных уже светится зависть, злость, насмешка, — и все молчат. Хоть бы закричали «ура», заглушили радостным родственным ревом нестер-

пимую боль в груди. Молчат. Но вот точно из одного горла вырвался восторг, закричали «ура», бьют ножами в стол и тарелки, подняты бокалы, клубится вино, и все-таки на нее смотрит множество глаз. Теперь ей думается: «Чего они ревут? чему обрадовались?» — тогда как у ней болит все тело и так мало воздуха в груди. Она пошатнулась... еще минута, и — упала бы в обморок. Но Михаил Михайлыч шепнул в это время: «Говорите что-нибудь, а не то я отвечу за вас... Зачем вы их боитесь?» Надя с необыкновенной силой воли собралась с духом и что-то заговорила... Голос ее пропал среди крику. Но гости, заметив, что она хочет сказать что-то, стали останавливать друг друга, и через минуту снова воцарилось молчание. Отец был едва ли не бледнее дочери...

— Папенька, я не иду за Подтяжина, — начала Надя.

— За Молотова, — подсказал Череванин.

— Я пойду за Молотова.

Голос прервался; она опустилась на руки Череванина и матери. С ней был легкий обморок. Изумление было всеобщее; лица вытяну-

лись, бокалы замерли в руках. Через довольно заметное время поднялся шум и жужжание, которое слышала Надя точно сквозь сон. Она опомнилась несколько, и ее увели из зала. Дорогов тоже вышел вон, качаясь не от хмеля, а от душевного потрясения. Он уверен был, что дочь не осмелится заявить свое слово, когда он объявит ее невестой при всех публично, что она не решится на скандал, — но она решилась. Дорогову нанесен был страшный удар, полный, неотразимый. Он с позором ушел в свою комнату и, бросившись в постель, вцепился в подушку старыми зубами... Рыдать ему хотелось, но горло как веревкой перехвачено. Мучительный час пережил он и потому только не проклял дочь свою, что не пришли в голову проклятия... Он был поражен...

Гости разошлись печально, не простясь с хозяевами, рассуждая о событии, которое в родне в сто лет случилось однажды. Надя спала без сновидений, убитая и задавленная. Череванин, выходя из дому, клялся, что он нагадит всей родне. Одно лишь было утешительно. Мысли матери просветлели в эту ночь.

Она с изумлением спрашивала сама себя: за что ее дочь страдает? Ей жалко было Нади.

Праздник кончился.

Чиновная коммуна, связанная родной кровью, была глубоко потрясена, когда услышала, что в их родню вступало такое влиятельное лицо, как генерал Подтяжин. Казалось, сильная, огромная, благодеющая рука поднималась над коммуной и готова была бросить в среду ее чины, кресты и оклады. Эта в своем роде оригинальная коммуна, цельная, сплоченная в одну массу, перерождавшаяся в продолжение ста лет из чистого, кровного плебейства в полумещанское чиновничество, с трепетом и замиранием сердца думала, что силы ее, вышедшие когда-то из народа в лице знаменитой прабабки, теперь акклиматизируются в департаментах окончательно, и тогда кто посмеет сказать, что родоначальники ее — мужики и мещане? В увлечении родные мечтали, что со временем можно будет сказать о департаменте жениха: «Департамент наш ; он весь наш родня; и молодое поколение, которое лежит еще в пеленках, здесь же

найдет впоследствии приют и занятия». Все это быстро пронеслось в головах мирных семей-родственников, когда Игнат Васильич объявил Надю нареченною невестою генерала; но вот Надя отвечала: «Я не иду за него», и родня была поражена, оглушена. Лишь на другой день она одумалась, и в мирных семьях чиновников раздалось призывное слово: «Работать, работать!.. за дело!.. Спасайте коммуны!» Наде предстояла борьба уже не с одними членами своей семьи, но со всеми, кого она только знала... Все на нее!

На другой день после именин большая часть родственников собралась у доктора. Сразу, в один час они возненавидели Молотова, как злейшего врага своего; в одно мгновение личность человека, прежде порядочного в их глазах, превратилась в отъявленно подлую и отвратительную, как будто в их благонамеренных душах давным-давно копилась и зрела вражда к Молотову и теперь вся вылилась наружу, вся сказалась. В собрании родных раздавалась брань против Молотова, слышалось слово: «Мерзавец!» — и если бы все пожелания их исполнились, то Егор Ива-

ныч спокаялся бы, зачем до сих пор живет на свете. Но все-таки они не знали, что делать, волновались, шумели, удивлялись событию, потому что Надя, как бы ни поучал ее Молотов, говорила правду: в родне ее существовала только обязательная любовь. Более пятнадцати голов, думавших крепкую думу, не знали, на что решиться. На любовь Нади они смотрели как на чудо, как на нелепое, уродливое исключение, которое совершается в столет однужды; но все же не могли они отрицать факт и поняли, что если совершился вчерашний скандал, то, значит, любовь Нади не каприз, не блажь, не пустая привязанность, что она на все готова. В их головах рождались душеспасительные и дикие мысли.

Пришел и Дорогов. Его окружили все.

— Что это случилось у вас? как вы допустили? Что делать теперь? — поднялись со всех сторон вопросы.

— Ничего не знаю, — отвечал Дорогов с отчаянием.

— Вы совсем растерялись, — сказал ему Рогожников...

— Что же я делать буду?

— Должны вразумить Надю...

— Вразумлял.

— Вы расскажите ей все о Молотове, всю его подноготную; надо вывести его на свежую воду, и Надя сама увидит, что? это за человек... Она испугается его...

— Что же я знаю о Молотове?

— Как, вы не знаете до сих пор этого нехристя, этого отпетого безбожника? Разве вы не знаете, что у него нет даже образа в доме, креста на глотке; садится за стол — рожи не перекрестит, родителей не поминает, в церковь не ходит. Говорили вы это Наде или нет?

— Неужели это правда? — спросили в один голос взволнованные родственники.

— Честное слово, прости ты меня, господи! — отвечал Рогожников. — Он даже не любит рассуждать о делах веры. «Я не сержусь, говорит, на вас за то, что вы так или иначе веруете; не сердитесь на меня и вы за мои убеждения».

Это поразило родственников, но более всех подействовало на отцовское сердце Дорогова... «Погубит мою дочь этот человек!» — ду-

мал он со страхом и едва не закричал: «Спасите, спасите ее!» Он с яростью тигра готов был защищать Надю от когтей Молотова... К прежним побуждениям выдать Надю за генерала прибавилось еще новое, которое окончательно, последней петлей захлестнуло сердце Игната Васильича и распалило его непобедимое упорство...

— Не дам я погибнуть своей дочери! — сказал он энергично.

— Надо рассказать ей о Молотове...

— Да, да!..

— Это я сделаю, — вызвался Рогожников, — я ей открою глаза... Она заблуждается, несчастная...

— Неужели и после этого она будет любить Молотова?

— Он опротивеет ей.

Читатель спросит: «Правду ль говорили о Молотове или клеветали на него?» Что отвечать на такой вопрос? Не из пальца же высосал Рогожников и, верно, правду говорил. Ему все поверили с радостью, охотно. Но этим дело не кончилось. Когда человек зол на человека, он узнает и расскажет всю подноготную

своего врага, подсмотрит и подслушает, припомнит, что давно забыто, — и за все будет казнить. После Рогожникова явился обвинителем Попихалов, который, в качестве будущего родственника и посетителя всевозможных собраний, участвовал на семейном совете, хотя, впрочем, его никто не приглашал.

— Извините, господа, — начал он вкрадчиво и почтительно, — если в вашу речь я вставлю и свое слово...

— Говорите, говорите...

— Я осмеливаюсь считать вас почти родственниками...

— Ну, разумеется.

— Мне кажется, есть сведения о Молотове, которые сильнее подействуют на Надежду Игнатьевну...

— Что такое?

— Молотов всего года четыре назад имел непопозволительную связь...

— С кем?

— С одной вдовой-чиновницей; я ее знаю и думаю, нельзя ли достать какие-нибудь документы, например письма.

— Вы можете достать письма?

— Не ручаюсь, но надо попытаться. Бог знает, может быть, у него и...

Попихалов несколько смешался и замял речь свою...

— Что, что такое? — спросили его с любопытством....

— Я хотел сказать, что, может быть, у него и дети были, судя по долговременности связи...

Слушатели были поражены; никто не предвидел последнего обвинения. С каждой минутой личность Молотова освещалась все более и более невыгодно для его репутации... Радость неподдельная, самая искренняя на лицах собеседников. Добрые люди торжествовали при открытии, что вот Молотов — безбожник, Молотов — развратник...

— Доказательства есть? — спросили самые благоразумные...

— Судебных, пожалуй, и нет, но зачем они? лишь бы убедить Надежду Игнатьевну, и Молотов от ней самой получит отказ, тем более что это не первый случай в жизни Егора Иваныча...

Лица повеселели. Родственники были

счастливы в настоящую минуту: им казалось, что они наверняка губили репутацию Егора Иваныча. Один лишь Дорогов с каждой минутой свирепел, представляя себе, что он оскорблен как семьянин; опять вспомнилась собственная юность и рисовались картины Надиной любви, созданные его небезгрешным воображением...

— После вдовы Егор Иваныч имел еще сомнительные знакомства, — продолжал Попихалов, — мне положительно известно, что он...

— Договаривайте...

— Посещал так называемых камелий...

Дорогов поднялся со стула и отошел в сторону.

— Он знаком, — говорил Попихалов, — с актером Ступиным; у этого актера... Уж извините, я буду говорить прямо...

— Ну да; нечего тут стесняться! разоблачайте его!

— У Ступина есть содержанка; у нее Егор Иваныч крестил детей.

— Господи, час от часу не легче! — проговорил Дорогов.

— Наконец, известно, что Молотов помогал одному приятелю деньгами и советами, когда приятелю нужно было увезти девицу из дому ее опекуна...

Игнат Васильич взялся руками за голову и, стиснув зубы, в душе своей проклял все на свете. «И этот человек едва не жил у меня? — думал оскорбленный отец. — Что он хотел сделать с Надей?» Дорогов был опозорен на всю родню, гласно...

— Надо довести все это до сведения Надежды Игнатьевны, — заключил Попихалов, — и тогда дело примет совсем другой оборот...

Состоялось общее решение опозорить Молотова в глазах Нади. Ко всему этому прибавились еще тысячи случаев из жизни Егора Иваныча, тысяча мельчайших черт его характера, и наконец возник вопрос:

— А откуда у него пятнадцать тысяч?

Решено:

— Украл!

— Где?

— Где-нибудь да украл! Такой человек на все способен...

Что же автор не защищает своего героя?

Что ж и защищать его? Денег он не крал, и впоследствии сам Молотов расскажет, откуда у него взялись тысячи. Относительно же любовных похождения Молотова скажу, что в словах Попихалова была и правда. Детей у него не было, документов интимного свойства не существовало, но другие обвинения, пожалуй, несколько справедливы...

Мы с своей стороны ответим на один только вопрос: «Любил ли кого-нибудь Молотов?»

Такому вопросу мы придаем важное значение в деле характеристики. Как бы ни был человек прозаичен, но имеет же он хоть фунт хорошей крови в организме и пару мыслей о женщине в голове. Молотов, хотя бы он был холоден, как медно-красный индеец, идеально или материально увлекался, — это-то и нужно знать. Каждому смертному жизнь дает известную долю любовного продукта, имеющего тот или другой характер, смотря по темпераменту и нравственному развитию. Автор обязан представить факты, причем, само собою разумеется, поэтические ходули и ломанье не имеют места. Мы в романе не действующее лицо, а смотрим на события и характе-

ры со стороны, относимся к ним холодно, бесстрастно, никого не обвиняя и не оправдывая... Известное дело, что всякий считает любимого человека выше всех на свете, и это не заблуждение, потому что для влюбленного предмет его любви в данное время действительно божество; но зачем же автор вместе с героями будет считать их божествами? Автор, по законам природы, сам имеет полное право быть влюбленным и, по тем же законам природы, считать предмет своей любви выше всех на свете, даже героев своей повести. Поэтому какая нужда скрывать что-нибудь? Лгать не только безнравственно, но и бесполезно. Так и будем писать.

В начале юности, когда проснулся организм Молотова, он встретил в жизни прекрасную кисейную девушку, которая, несмотря на всю свою неразвитость, заставила его крепко призадуматься об отношениях к женщинам. В натуре Молотова было много материального, необузданного, и первые интимные отношения к такой девушке, как Леночка, имели на его характер влияние благотворное, смягчающее и одухотворяющее. Поэ-

тичнее он не сделался, но стал осторожнее и честнее в отношениях к женщине. Был ли он человеком внешних обстоятельств или не развился он окончательно, только ему до знакомства с Надей не удалось ни разу увлечься всецело, и любовь его проявлялась как-то односторонне... Так, он скоро после Леночки увлекся дочерью генерала Прокопина Анной Федоровной, которая была в полном смысле красавица. Он ни прежде, ни после того не встречал женщины изящнее ее. Он с первого же раза был поражен красивой, художественной фигурой Анны Федоровны. Эта женщина способна была страстно увлечься искусством. Произведения поэтов, картины знаменитых художников, античные статуи, серьезная музыка, картины природы — составляли ее насущную потребность, она жила среди прекрасных образов, и это отразилось на ней самой. Ее существование было глубоко изящно. В губернии Прокопин жил только летом, а зиму в Петербурге, где у него было самое избранное знакомство, цвет общества: люди замечательные либо по общественному положению, либо по талантам. Он скоро сошелся с

нею и высказывал меценатке свое несозревшее миросозерцание. Она слушала его внимательно и однажды сказала: «Из вас выйдет замечательный деятель; такие люди, как вы, нужны для общества, вы не будете представителем науки или искусства, но станете во главе практического движения». Молотов хотя не поверил меценатке, но все-таки почувствовал спокойствие, когда сошелся с нею. Чаще и чаще хотелось ему видеть Анну Федоровну. Она объясняла ему смысл и красоту художественных произведений. Все, что было грязно, порочно или несчастно, она отстраняла от себя, потому что все это было неизящно и не давало эстетических наслаждений. Молотову казалось, что ей следует занять место в Эрмитаже, на мраморном пьедестале, среди произведений искусства, — так она была хороша. Он, незаметно увлекаясь, дошел до обожания, до поклонения, о чем и проговорился ей нечаянно. По этому поводу Анна Федоровна сказала: «Я люблю только очень замечательного человека, знаменитость». Она говорила правду, и Молотов понял свое положение. Если бы он написал гениальную поэму, сделал знаме-

нитое открытие в науке, решил государствен-  
ный вопрос или взял крепость, тогда она  
охотно пошла бы под венец с Молотовым. Но  
Молотов был простой парень, ученый мужик  
и не мог же сделаться гением по приказанию  
этой изящной женщины. Наступила зима,  
Прокопины уехали в столицу, и образ краса-  
вицы скоро стусебался и лег в душе подле об-  
раза Леночки... После того у Молотова не бы-  
ло увлечений; носило его с места на место,  
нигде он не мог основаться надолго и по тому  
самому завязать романа. Несколько раз хоте-  
ли женить его, но он и не думал о том... Вот в  
это время Молотов, как и все мужчины, тра-  
тил себя не жалея. Из тысячи молодых людей  
нашего времени остается ли один даже до  
шестнадцати лет невинным? — Молотов не  
был исключением. Поэтому обвинять его бы-  
ло нетрудно; Попихалов обвинит, если угод-  
но, самого Ромео — за фактами дело у него не  
станет. Молотов до тридцати трех лет прожил  
холостяком, — как же автору оправдать его?  
Никто не поверит, и выйдет идиллическая  
пастораль. Вдова была последняя его привязанность, но он был знаком с ней не более ме-

сяца, — это была еще молодая и красивая, но злостная, ядовитая баба, желавшая прибрать его к рукам. Четыре года прошло, как Молотов жил безупречно... Он уверился было, что не способен влюбиться, и стал мечтать, как лет под сорок вступит в законный брак с какой-нибудь тридцатилетней дамой, чтобы не обижать уж молодых. Он обдумал и план, как до заката дней дотянет свою жизнь беспечно, и сам предсказал свое грядущее: работы настолько, чтобы отдохнуть захотелось и было бы сытно и не совестно, а во время тошноты от скуки, которая хватает за горло людей с неудавшейся жизнью, — рюмка вина, моцион или книга... Все было рассчитано и похоронено; стало киснуть сердце; сделался он сух и эгоистичен. Молотов думал, что отходит его молодость, а Надя в это время только что расцвела, и вот встретились эти два человека. В душе Молотова ожили лучшие инстинкты; он медленно увлекался, но тем больше сильно; узки и мелки показались ему расчеты житейские, так что он не мог говорить с Надей спокойно, когда она защищала брак без любви. Сила привычки, долгого зна-

комства и откровенности с Надей сделали то, что он лишался в ней точно жены, а не невесты. Егору Иванычу нужна была умная женщина — Надя сказала ему: «Мне не поэзию надо, я знать хочу», Надя хотела выйти из жизни замкнутого круга — Молотов указывал ей дорогу, — и вот они сделались жених и невеста... Теперь хотят обвинить Молотова перед Надей.

Родственный сейм после совещания разошелся с полной надеждой, что опозоренная личность Молотова сделается противна для Нади, и в тот же день ей были объяснены поведение и характер Егора Иваныча. Но все были удивлены, когда узнали, что Надя ничему не поверила; а удивляться было нечему, потому что она любила Молотова, к родным же теряла уважение с каждою минутою... Нет, верно, не воротить старого: чужой человек давно был дороже своих. Стали искать причину — отчего Надя так упорно шла на очевидную, как казалось, опасность, и не могли отыскать ее.

На другой день отыскали причину...

Игнат Васильич сам подслушал, как Михаил Михайлыч повторял Наде свои наставления и доказывал, что Егор Иваныч нравственнее всей родни ее, взятой вместе.

В сердце Игната Васильича был неистощимый запас бешенства. Каждый день он волновался, дрожал от злости, бледнел; много ночей он не спал, но нервы его все еще не теряли способности раздражаться, не тупели, а напротив — приобретали страшную упругость и силу. Дорогов едва не собственноручно выгнал Череванина из дому. Но Михаил Михайлыч, слушая брань его, медленно убирал работу и, уходя, сказал Наде:

— Надежда Игнатьевна, терпение...

— Несчастливая! — проговорил отец, когда они остались вдвоем...

Надя решила молчать...

— Сегодня последний день твоим капризам...

«Что же они сделают?» — думала Надя...

— Я тебе сказал, что ты в жизнь свою не увидишь Молотова. Помни, что мое слово ненаруσιμο, и подумай о себе. Я ненавижу его, как злейшего врага своего. Ты разруша-

ешь мое счастье, и я этого не прощу тебе. Никто не может насильно поставить тебя под венец, но как же ты без моего согласия пойдешь за Молотова? И вот даю тебе честное, крепкое слово, что ты готовишь себя к страшной беде. Знаешь, что я тебе скажу?

Надя не отвечала...

— Тебе говорил Череванин, что все пройдет; нет, неправда это... Если ты не покоришься, я ни за кого не отдам тебя замуж... ты навеки останешься девкой... Молотов не будет моим зятем... Что, угадал Михаил Михайлыч? Правду говорил он, что на днях кончится твой роман? Он никогда не кончится... Ты обреченная старая девка!

Надя вздрогнула...

— Не Череванин, а я предскажу тебе будущность; я напишу тебе последнюю главу твоего романа — длинна она будет, дочь моя...

Надя почти с ужасом прислушалась к зловещим словам отца.

— Ты не любишь нас, — продолжал отец, — уверена, что мы разрушили твое счастье; и я не люблю тебя, потому что ты погубила мое спокойствие. И вот с этой же мину-

ты знай, на что ты решаешься. Ты останешься жить среди людей, которых отвергла душевные просьбы, будешь хлеб их есть, нищенствовать, проживать у них... Простят они тебе? Ты сама видишь, как с тобой жить тошно стало, и все-таки остаешься с нами, чтобы окончательно отравить наше существование. Ничего, живи с нами и каждый день наслаждайся, как около тебя будет все сохнуть, стареть и горбиться. Нет, я тебя не прокляну, не выгоню из дому, не пущу к Молотову, на которого ты надеешься и вот в эту же минуту о нем мечтаешь: «Где он? Что теперь думает и делает?.. Когда ты с ним увидишься?..» Оставайся ж старой девкой! — вот тебе наказание, и всю жизнь ты будешь чувствовать, какой великий грех — противиться родительской власти! Никто тебя не выручит и не пожалует, несчастная! «Терпенье!» — сказал этот негодяй, — испытай свое терпенье... Старая девка! — сказал отец со злобой и посмотрел на Надю с ненавистью...

— О господи, это хуже проклятья! — проговорила она...

— Голодная старая девка!.. Живи среди нас,

объедай своих младших братьев и сестер и учи их потихоньку ненавидеть отца...

Надя чувствовала, как она каменела, превращалась в бездушное существо, кровь останавливалась в ее жилах; но она с напряженным вниманием вслушивалась в ужасные заклятия на жизнь свою... Отец же точно помешался, и не останавливалась его безумная речь...

— Что ты будешь делать, когда отца твоего не станет? Ты не получишь тех четырех тысяч, которые я обещал тебе в приданое... Не стоишь... И вот ты пойдешь таскаться по братьям, у родных нищенствовать, сядешь на чужие хлеба, дармоедничать будешь, — и так весь век в зависимости от людей... Опомнись, тебе двадцать третий год! Что за нелепое упрямство?

Надя смотрела на него с изумлением...

— Или не думаешь ли ты, что проживешь как-нибудь своими трудами и никому не будешь в тягость?

Надя ничего не думала.

— Мужчине, и то дельному и здоровому, под силу жить своими трудами, а не вам, ба-

бам. Что ты знаешь, чему училась, на что способна, куда и кто тебя примет? В швей, что ли, пойдешь?

— Боже мой! — проговорила Надя.

— Или скажешь: зачем же тебя не учили ничему? Неблагодарная тварь! Я тебя ничему не выучил? я не воспитывал? Кого во всей родне нашей так заботливо растили, как тебя? Вспомни, как, бывало, после целого дня службы я по вечерам учил тебя азбуке и письму; потом третью часть жалованья отдавал этому мерзавцу Молотову — добру он настаивил; разве не я чуть не в ногах валялся у князя, чтобы определить тебя в институт его пансионеркой? Подарки делал начальству, ночи не спал от забот, молебны служил, чтобы тебе господь смысл дал; семь лет следил за тобой как за своею совестью, — ведь ты первая и любимая дочь моя!.. Много ли девиц, которые, как ты, умеют держать себя в обществе, танцевать, говорить? Откуда все это у тебя? На свои деньги, что ли, купила?.. Все моя спина гнулась от работы на вас, бездушных тварей!.. Говори что-нибудь, деревянная кукла!.. Оправдывайся!..

Надя бессмысленно улыбалась...

— Ты смеешься еще? — крикнул отец в бешенстве.

Наконец стали слезы подступать к горлу Нади. Летаргическое оцепенение миновалось. Тяжелый, порывистый вздох вырвался из ее груди. На лицо пробилась кровь большими пятнами...

— Ты нарочно бесишь меня? — говорит отец. — Бесишь грустной рожей, молчаньем, слезами...

Надя заплакала.

— Говори что-нибудь!

Отец подошел к ней, положил, как прежде, на Надины плеча тяжелые руки и с внимательной, оскорбительной, дерзкой злобой смотрел ей в лицо.

— Надя, молишься ты за меня богу? — спросил он медленно и сам побледнел...

Судорожный трепет пробежал по плечам Нади. Плач переходил в рыдание...

— Молишься ли богу?

— Молюсь, — отвечала она прерывающимся голосом, — чтобы он смягчил ваше сердце...

— Любил я тебя, Надя, а теперь не люблю...

Опротивела ты мне!.. Вспомни, бил ли я тебя когда-нибудь, наказывал ли, знала ли ты розгу? И я тебя ласкал и лелеял, целовал и имя дал Надежда... Теперь мне ударить тебя хочется...

Смертная бледность разлилась по лицу Нади...

«Ударить», — подумала она и закрыла глаза в ужасе...

И вот ей вдруг почудилось, что отец поднимает тяжелую руку с плеча. Она вся, с головы до ног, обмерла, обезумела и дико вскрикнула на все комнаты, закрывая лицо руками.

Вбежала бледная и трепещущая мать.

— Что у вас? — спросила она, с недоумением глядя на окаменевшую дочь и на изумленное лицо мужа.

Надя отвела руки, взглянула на отца, ничего не поняла и не сообразила и опять вскрикнула:

— Ах, не бейте, не бейте меня, папенька!

Анна Андреевна бросилась к мужу, оттолкнула его от себя и потом обняла Надю, которая с диким шепотом повторяла:

— Не бейте, не бейте!..

— Ты с ума сошел, обезумел! — говорила жена...

У отца в первую минуту, когда он услышал вопль дочери, мелькнула страшная мысль — «Она помешалась»; потом, когда Надя закричала: «Не бейте меня» и шептала: «Не бейте меня», он догадался, что дочь его поверила тому, что он способен ударить; ему тогда едва ли не страшнее стало. В одно мгновение в голове, быстро цепляясь мысль за мыслью, явилось сознание: «Я сделался для родной дочери предметом ужаса...» Взглянул он на жену, — та с ненавистью, с презрением, отвращением смотрела на него; взглянул на дочь, — она дрожала от страха... У него сердце замерло, он растерялся, испугался своего положения и в первую минуту не произнес ни слова...

— Не подходи к нам! — сказала жена, когда заметила его намерение приблизиться к ним...

— Надя, дурочка, полно тебе, перестань, — заговорил наконец Дорогов умоляющим голосом. — Неужели ты могла подумать, что я способен ударить тебя?

Он взял Надины руки, отвел их от лица ее,

сжал нежно в своих руках и стал целовать Надю в лоб, в глаза, в голову и неожиданно сам заплакал...

— Неужели тебя, мою Надю, мою самую любимую дочь, могу я... О господи, что это пришло тебе на ум? Тронул ли я когда-нибудь пальцем?.. Надя, друг мой, скажи что-нибудь.

Надя обвила его шею руками, — и оба они плакали.

— Добрая моя, как тяжело тебе, — прошептал наконец Игнат Васильич.

Надя обливала поседевшую голову отца горячими слезами. Игнат Васильич не вынес было, хотел уже простить ее, разрешить ей делать все, что она хочет, и благословить на новую, желаемую с Молотовым жизнь. Анна Андреевна предчувствовала такой исход дела, и радость, давно ее оставившая, оживила ее душу. Она решилась во что бы то ни стало защитить свою Надю и, сама знавшая лишь обязательную любовь, благословить дочь свою на любовь свободную, человеческую. Кажется, начинается тайна примирения, тайна разрешения и всепрощения. Вошли дети и остановились с изумлением, видя, как сам

отец обнимает дочь свою...

— Папа простил сестрицу, — прошептала Катя.

Отец, увидя их, сказал коротко:

— Подите отсюда... играйте себе...

Дети повиновались; но лица их были светлы, ребячьи речи полны надежды; они, дети, радовались и за Егора Иваныча, своего доброго знакомца, и за Надю, свою любимую сестру...

Отец стал ходить по комнате.

— Ну, полно, — сказал он Наде. В его словах уже слышалась строгость.

Он быстро прошелся по комнате и вдруг повернул в свой кабинет, двери которого запер за собою плотно. Все поняли, что теперь его не надо беспокоить. Необыкновенное что-то делалось с Дороговым. Он сидел, положив голову на ладони, а локти на стол. Суровое, тяжелое, нелепо-отталкивающее выражение было на лице его. Морщины глубже врезались, увеличились и яснее обозначились. Взгляд сделался тусклым, сухим, неподвижным. Постоянно нависшие брови точно выросли. Голова его начала седеть, и скоро с нее

будет падать волос. Редко он переводит дыхание, но сильно, так что слегка разжимаются его тонкие, сухие губы. Давно он не улыбался, давно не было в его душе светлой и радостной мысли. В заржавевшем сердце проснулось чувство любви и жалости к своей дочери только тогда, когда вскрикнула она: «Ах, не бейте, не бейте меня!» Крик, вырвавшийся из Надиной груди и потом перешедший в полупомешанный шепот, заставил его уйти от своих и запереться... Проняло его наконец и покорило. Вопль дочери внезапно ярко осветил положение семьи, до которого он довел ее. Этот вопль связал его душу и готов был подчинить его, старшего в семье, младшим людям. Сознание прокрадывалось в темную душу; он чувствовал, что власть ускользает у него, что чья-то тяжелая незримая рука легла на его голову и не давала ходить его мысли по-старому, своевольно, хотя бы на зло всем, лишь бы самому нравилось. «Да я так не думаю» — это исходное жизненное начало его деятельности туманилось и гасло. Догадывался мундирный самодур, что, в свою очередь, можно было ему ответить: «Я не думаю,

как ты...» В его воображении стояла бледная, дрожащая дочь, с руками, защищающими лицо, обезумевшая от ужаса, и возникал и повторялся с ясностью сейчас повторяющегося события вопль и шепот дочери, и с каждым разом он переживал боль сердечную. Он несчастлив, и несчастлив по-своему, оригинально. Душно старику. Если бы молодые годы, Дорогов разнес бы свое горе по холостым кружкам, утопил бы в вине, выкричал бы в песне, отшибло б ему голову, и то было бы исходом из охватившего его удушья. Но двадцать лет перевоспитания, неувимой, тайной переделки характера сделало то, что в сердце его родилась любовь к семье и легла сверху необузданной дикой воли, которая, будучи вызвана обстоятельствами, неожиданно вся сказала в отвратительных формах. Сразу жили в нем любовь и ненависть; то зверь проснется в нем, то отец семейства; то ему плакать хочется, то выть от злости. Невыносимо страдание человека, когда в мрачную душу, в черное сердце поселяется любовь, когда он любит и ненавидит одно и то же; все следят за его страданиями, но никому не жал-

ко его, потому что его страдание с бешенством и криком на то, зачем люди хотят жить не так, как приказал он, и не диво, что он сидит, горбится, лицо его покрывается морщинами, как иссохшая глина трещинами, и тупеют его мозги. И все перед ним стояли бледная жена, трепещущая дочь, испуганные дети. Куда ж девались тихие вечера, ребячьи сказки, добрые молитвы, ясные поцелуи и светлая будущность? Семья разлагалась. Из недр ее встали новые силы — нравственные, непобедимые. Он точно разделился на две половины, глубоко заглянул в свою душу, слышал, как в ней шевелились проклятия; но он не смел дать им волю, потому что страшно стало душить чужую молодую жизнь, запрещать свежим людям мыслить, и веровать, и радоваться по-своему. Нельзя сказать: «Я решил за вас!» — все хотят думать сами за себя. «Вот первое, любимое дитя мое, которое я растил себе на радость, а что оно со мною сделало? — думал Дорогов. — Что будет с другими детьми? Неужели до глубокой старости мученье и тревога? Да, уж Надежда не послушается меня, не сломишь ее! И другие дети выраст-

тут, — неужели сказать им всем: «Не имею права принудить вас ни к чему, живите как хотите»? Но вот он стиснул голову руками и проговорил: «О господи, да это хуже всякой пытки!..», потом поднялся со стула и начал ходить по комнате из угла в угол... Его совесть начала мучить неотступно. В тех случаях, когда душа человека сильно потрясена головной работе, часто бывает, что поступки наши в собственных же глазах неожиданно освещаются болезненно ярко, самим же сделанное дело дает такой смысл, какого никогда и не предполагал человек. Это момент пробуждения совести, и особенно он труден для такой упрямой души, как Дорогов.

«Я тебя не прокляну, не выгоню из дома, оставайся среди нас... старой девкой... навсегда...» Сегодня же он говорил эти шальные речи и доказывал, что в них ненарушимое, крепкое его слово; а теперь ему было мучительно тяжело припомнить, как он заклинал свою родную кровь, молодую жизнь дочери, любимой Нади, на всегдашнее девство и попреки родительским кормом... Доходило до того наконец, что он сам себе не мог уж дока-

зять свои права, и точно нож поворачивался в его сердце... Ему захотелось простить и примириться со всеми, но не нашлось силы и решимости сразу покончить это дело. Он готов был тянуть собственное горе, оттягивая время час за часом и дожидая, не откроется ли сам как-нибудь исход из его положения. Самая минута прощения была для него тяжела. Он был бы рад, если бы за него кто другой сказал либо они сами догадались, что он потерял над ними власть и не хочет больше борьбы. Ему тяжело было разверстаться с своими старыми грехами, прямо, откровенно и благородно положить конец неурядице семейной. Вместо слова и дела на душе его являлись мысли: «Зачем все это случилось?», и даже пустые мечты о том, что будто ничего и не было — ни генерала-жениха, ни именинного праздника, ни родственного совета, вопля и шепота дочери и душевных потрясений. Он струсил, закрывал глаза себе, насильно хотел остановить требования рассудка и совести и отдавался ожиданию, что сами события придут и дадут знать, как быть теперь; но действовать он не мог — духу не хватало, и в

этом неисходном положении тоскливого ожидания и мления он так и замер. Душнее нет той жизни, в которой участвующие лица не действуют, и нисколько не утешительна та истина, что в романе Нади не будет никаких событий, что надо ждать и терпеть, превратиться в автомат и никого не слушать; да, лучше борьба, скандалы, ломка, на виду совершающиеся тайные свидания, запрещенные поцелуи и письма, нежели это внутреннее, мертвящее удушье. И никто не действовал — все ждали. Анна Андреевна ничего пока не предпринимала. Есть род женщин, по натуре умных, честных, кротких, всю жизнь свою живущих обязательно любовью; с удивительным самоотвержением они вечно верны и святы, ни одна мысль грешная не посещала их душу, и сквозь всю дрянь, окружающую их, видна в них натура богатая, сильная, лишь только сдавленная фатумом... Эти женщины весь запас свободных привязанностей отдают своим детям, и муж для них нужен для того только, чтобы перевоспитать его, приурочить к дому, дать ему жизнь на заданную тему, и все для того, чтоб получить детей

от мужа, чтобы было кого любить всей страстью женской любви... Анна Андреевна питала к мужу узаконенную любовь, и поэтому она хотя простила в душе любимую свою Надю, готова была дать ей вольную волю любить кого хочет, и настрадалось ее сердце, глядя на горе дочери, но она все-таки не понимала Надю, и, казалось ей, лучше нейти за Молотова. Она не хотела более настаивать на этом, но только потому, что не хотела более мучить Надю... Она уже решилась противиться мужу, и опять ее умная голова готовилась к подземной работе, собираясь по-прежнему вышивать тонкими шелками по канве семейной жизни; но пока она не нашлась, что делать, и потому только примкнула к своей Наде и с непобедимым терпением собралась выносить гнет тихо движущихся событий, выжидая, скоро ли возвратится ее влияние на мужа... Все остановилось и замерло. И положение Нади никогда не было так печально, как теперь. Полное, холодное отчаяние пало на ее душу, и несколько раз приходили мысли, отрицающие счастье; на будущность ложилось флеровое покрывало, и повторялись

бессознательные слова, против которых так горячо защищался Молотов: «Все примиряются... это неизбежно... Это не покорность, а неисходность...» Она поверила крепкому слову отцовскому, не зная того, что он и сам был не рад этому слову и больше не верил ему; а Наде все-таки пришлось пережить душою нерадостные мысли: «Неужели я забуду Егора Иваныча? неужели это правда? Ведь все забывается, все пройдет, и вот через какие-нибудь пять-шесть лет самый образ Молотова потеряется из памяти, сотрется силою времени, как пропал из души образ любимого дедушки и младшего брата, как все стусевывается и забывается. И он меня позабудет, — иначе нельзя, не бывает... Но все-таки я не пойду за Подтяжина — он противен мне, и я его ненавижу». Так она говорила, а сама без ужаса не могла себе представить, что за жизнь готовится ей среди родной семьи; она едва не призывала забвение, — оно невольно приходит на ум, когда уверены мы, что связь с любимым человеком порвана навсегда. Но ей страшно было подумать, что забвение придет к ней, — что? она тогда будет?.. И так было

трудно на душе, что будто случилась между ними не простая разлука, а развод совершился... И она, как все, стала ждать, что скажут события, не выручит ли завтрашний день, не случится ли что на следующей неделе? Так никто не действовал, и жизнь остановила на время свой медленный ход. Неужели же так ничего и не случится, и тем кончится дело, что душно всем станет в спертой атмосфере, среди глухого молчания, до того невыносимо, что разбегутся эти люди в разные стороны, и долго потом будет им невесело встречаться между собою? Всем приходилось ждать, — и Дорогов, и Анна Андреевна, и Надя, и Молотов, и дети, и родня — все ждали, и только... Недаром сказал Игнат Васильич: «Это хуже всякой пытки!..» Хуже и есть. Вот какие в наших обществах возможны романы, и совершаются они сплошь и рядом. Даже противно! — без движения, почти без завязки, с секретным, ото всех закрытым развитием, с обязательной любовью, и действующие лица не действуют... А главная причина, узаконенный жених с зачаделым своим ликом, до сих пор стоит в стороне и не является на сцену. Скуч-

ная действительность!.. Гадко!..

...Молотов сидел у себя дома, подле стола. Перед ним стоял портрет Надин, подаренный ему Череваниным. Художник успел унести портрет с собою, когда должен был прекратить работы у Дороговых.

«Как поздно пробил мой час, — думал Егор Иваныч, глядя на лицо девушки. — Чем я отплачу тебе за твою любовь и за то терпенье, которое тебе нужно теперь? Настрадалась ты, бедная, за то, что хотела жить со мной; но что я тебе дам в жизни? Все, что ты хочешь. Все мое сделается твоим, и недолго же нам осталось мыкать горе: запремся в наши комнаты, состроим жизнь по-своему, никого не спрашиваясь, и прежде всего будем жить для себя, для двоих только, и любить друг друга. У людей ничего не выпросишь, не дождешься от них радости, и не надо — без их помощи проживем».

Глаза портрета прямо смотрели ему в лицо. Он встал и отошел в сторону — смотрят глаза, спрашивают. Долго и пристально вглядывался Молотов в портрет Нади. Он выяс-

нился перед ним и вырезался; отделялись лицо, руки, грудь. От усиленного внимания образ Нади встал перед ним в воздухе, как живое существо. Не мог он угадать, о чем эти живые, печальные взоры невесты хотели спросить его. Он опять сел и мысленно беседовал с Надей. До сих пор Егор Иванович не мог назвать ни одну женщину ангелом и стать перед ней на колени, а теперь сами собою являлись ласковые имена, которые часто для постороннего лица кажутся так изысканны и сантиментальны. Не будем повторять их.

Егору Ивановичу не хотелось, чтобы теперь зашел к нему Череванин, который, несмотря на свою готовность помогать, не в силах был воздержаться от красного словца, которым охотно поддразнивал своего приятеля, так что стал ему в тягость и часто доводил до страшного расположения духа... Молотов давно уже сделался ровным и спокойным мужчиной, научился сдерживать себя, стал глубже и сосредоточеннее; антипатии прежних лет перешли в полное равнодушие и теперь не составляли для него вопроса. Но в настоящее время он был оскорблен, люди хотели

уничтожить его счастье, для которого он много лет работал, запрещали ему любить, обижали его Надю, и внутри его все кипело и волновалось, как в былые годы, а Череванин своими бесцеремонными речами хватал за больные места. Он мог выйти из себя и вот почему не желал посещения художника. Не привык он так бездеятельно, пассивно участвовать в жизни; а между тем ему приходилось сидеть сложа руки, потому что пришлось столкнуться с каким-то особым, замкнутым, наглухо застегнутым в чиновный мундир обществом. В те минуты, когда он представлял себе, что Надя одна-одинешенька страдает, а он не может пальцем шевельнуть для ее помощи, ему становилось совестно, он горел от стыда и, кажется, способен был решиться на что угодно; но во что бы то ни стало приходилось ждать, а это было не совсем в его натуре. Теперь мы застали Егора Иваныча довольно спокойным. Его волновали надежды и гордые мысли.

— И я теперь буду не один на свете, — говорил он себе, — и я нашел свою родню, совью себе гнездо. Недаром я копил эти цветы, кар-

тины, книги, фарфор и серебро. Она будет здесь жить; тут мы будем сидеть, читать и беседовать. Все, к чему я стремился, скоро может осуществиться в моей жизни. Теперь в сторону все эти необъяснимые вопросы; я знаю, зачем буду жить на свете... я просто любить и жить хочу. Стоит лишь припомнить пройденную дорогу — сколько забот, труда, часто унижительных положений пришлось вынести для того, чтобы сказать наконец: «Я сам, один, без всякой посторонней помощи сумел прожить и выбиться из бедности. Кому я обязан своим комфортом и довольством? откуда у меня деньги, вазы, картины, серебро и фарфор? Мне никто и ничего даром не давал; судьба меня бросила нищим и голодным, провела чрез страшную школу бедности, и вот я стал копить деньги, я люблю их, потому что люблю независимость, я сам себя должен прокормить... никто воды даром не даст напиться без того, чтобы не согнуть спины... Ненавижу я хлеб чужой, и никогда я не пожирал ничего чужого... Все, что есть у меня, заработано своими руками... Все свое. И устрою же я себе жизнь как хочу, и никто не посмеет от меня

потребовать отчета, зачем я живу на свете... Не будет по-вашему — Надя придет сюда, и ей одной буду благодарен за свое счастье, весь отдамся ей, потому что люблю ее...»

Он взглянул на портрет и прошептал:

— Добрая моя, ты единственный человек, которому я дорог и близок!.. Спасибо тебе... Никогда я тебя не разлюблю, потому что давно ты мне родная... О, как я буду работать для тебя!..

Он смотрел на Надю. В увлечении ему показалось, что портрет ресницы поднял; он наклонился и поцеловал его. После поцелуя ему страстно захотелось увидеть Надю, взять ее у отца и матери и увести из дому; разгоралось и кипело сердце, и невыносимо досадно было, что все пути заказаны к любимой женщине. Он встал в волнении и спрашивал себя: да кто же запретит любить им друг друга?

Раздался звонок...

— Череванин идет! — проговорил с досадой Молотов и отошел к камину.

— Жив ли, душа моя? — сказал художник, входя к нему. — Вона!.. да ты как бык здоров, а влюблен!.. Страдать, братец, следует!.. Надя

не теряет же времени — делает свое дело... Я с кухаркой сошелся, — за рубль какого хочешь амура продает...

— Что там? — спросил стремительно Молотов...

Череванин рассказал, что успел узнать...

— Скоро, значит, конец, — прибавил он, — потому что крупные сцены начинаются... Мы можем следить за ходом дела по мелочной лавочке, в прачешных и по всем кухням, потому что везде толкуют о том, что управляющий снюхался с дороговской дочкой. Словом, приличный романчик выходит.

— Ты всегда, Михаил Михайлыч, говоришь пошлости.

— Ну, вот это дело: выбраться можешь, при сильной страсти хорошая мера. Когда я был несчастливо влюблен, мне однажды попала под руку кошка, я ей хвост надорвал, и что же? — легче стало...

— Перестань, Михаил Михайлыч, и так тошно.

— Ничего, пройдет...

— Наконец, это бессовестно с моей стороны ничего не делать, тогда как она измучи-

лась и настрадалась...

— И все-таки тебе шевельнуться нельзя...

Молотов сложил руки и остановился перед художником...

— Вот у Кукольника в повестях, так там все какое-нибудь высокое лицо соединяет любящие сердца; но ныне таких штук не бывает... А то спасают иногда даму сердца во время пожара, нашествия иноплеменников или наводнения, — тогда она, как приз, принадлежит избавителю; и еще есть средства: крадут девиц, свертывают шею их соперникам или продают свою душу черту, — это очень практический господин; но, к сожалению, все эти меры не в правах гражданского чиновника... Ты что за птица? какой у тебя чин? Сиди-ко себе да кисни... Время само придет.

Молотов вышел из себя...

— О, проклятое положение! — сказал он, стиснув зубы.

Прошелся он по комнате...

— Нет, надо наконец решиться...

— Подождать, — подсказал Череванин...

Молотов взглянул на него сердито...

— Ты, кажется, находишь удовольствие бе-

сить меня...

— Экой ты какой ядовитый!

Молотов окончательно вышел из себя... Он схватил шляпу и отправился к двери...

— Эй, куда ты утекаешь?

— Отстань ты от меня!

С этими словами Егор Иваныч скрылся...

— Свежим воздухом подышать захотел? Что ж, это хорошо... Помогает... А сделал бы моцион верст в пятьдесят, как рукой сняло бы... Постой же, я на тебя карикатуру напишу...

Череванин достал карандаш и бумагу. На первом плане, сверху, с распростертыми руками, красовался генерал-жених и протягивал для поцелуя губы. Подписано: «Сиволапый медведь по поднебесью летал, поросятчечк щипал». Потом изобразил Дорогова, в поджаром виде, с подписью: «Говори, чего хочешь, пирога или хлеба?» и ответ Дорогова: «Мне все одно, давай хоть пирога». Под супругой Дорогова стоял текст: «Тптпрунды, баба! тптпрунды, дед! хватилися, хлеба нет; стала баба деда мять, деду где же хлеба взять?», Молотов с сонными глазами и разинутым ртом;

Надя плачущая; под ними: «Терпения имате потребу». Дальше сам Череванин шел под руку с дамой; внизу написано: «Моя любовь отвечает: «Ах, Михаил Михайлыч, никак нельзя»...» Серию карикатур заключал Касимов-отец, со словами к изображенным лицам: «Милостивые государи, кто от любви чахнет, а мы от геморроя!» Карандаш его разыгрался, и он, увлекшись карикатурами, тешился по крайней мере часа три... Между тем Михаил Михайлыч и не подозревал, что Молотов на скандал решился. Он отправился к Подтяжину с намерением просить его отказаться от Надежды Игнатьевны, а если не согласится добровольно, то напугать его и принудить насильно. У него начали рождаться довольно оригинальные логические построения.

«Чего тут ждать? — думал он, торопясь к Подтяжину. — Надо действовать... Как?.. А как они действуют... Что за благодушие, что за щепетильная разборчивость в средствах?.. Против насилия нечего церемониться и бояться поднять палку... Все средства, употребляемые врагом, позволительны и против него... Это не иезуитство, а обыкновенное жи-

тейское дело, естественная защита... Что ж я предприму?.. А что бог на душу положит!.. Объясню, в чем дело, и сначала буду просить отказаться от Нади; если же он не согласится, я не задумаюсь схватить его за горло и насильно вырвать отказ. Чем это не принцип: не желай другому, чего себе не желаешь, и значит, если ты делаешь гадость, то и тебе, нисколько не стесняясь, могут нагадить? Тут не цель оправдывает средства, а только люди борются равным орудием; это вполне законное и необходимое дело, иначе всегда и ото всех будешь обижен! Тяжело наконец стало! Чего еще ждать? Того, что ли, когда у Нади, измучивши ее, вырвут согласие и обвенчают с нелюбимым человеком?»

С этими мыслями он входил к Подтяжину. Когда Молотова приняли и он отрекомендовался генералу, генерал спросил:

— По службе?

— Нет, по личному делу.

— А, так прошу садиться.

Молотов сел...

— Что скажете? — спросил Подтяжин.

Молотов приступил к делу прямо, без оби-

НЯКОВ:

— Вы желаете жениться, ваше превосходительство?

— А вам что за дело?

— Ваша невеста Надежда Игнатьевна Дорогова?

— Что за допрос, я не понимаю?

— Ваша невеста любит другого...

— Что?

— Она не хочет быть вашей женою...

— Вы нелепости говорите — у меня есть письмо от ее отца.

— Но дочь не согласна, ее принудили...

— Принудили? Откуда же вы это узнали?

Где доказательства?

Генерал нахмурил брови. По телу Молотова пробежала от досады нервная дрожь.

— Я знаю того человека, которого она любит...

— Кто ж это?

— Я сам, — ответил резко Молотов...

— Вы не кричите и не горячитесь, а говорите толком...

— Она моя невеста, — ответил Егор Иванович.

— Кто ж после этого моя невеста?

— А я почему знаю?

— Но у меня есть письмо ее отца...

— Я вам и говорю, что отец принуждает ее идти за вас насильно. Разве вы желаете, чтобы ваша будущая жена любила кого-нибудь другого, а вас ненавидела?

— Нет, не желаю; но расскажите же наконец, что там такое случилось?

Молотов начал рассказ, причем, разумеется, не пожалел красок, когда излагал семейные дела Дороговых, особенно когда касался Нади, и заключил рассказ свой обличительным словом против безнравственности выдавать замуж дочерей насильно...

Подтяжин слушал Егора Иваныча внимательно, «и на челе его высоком не отразилось ничего».

— Зачем вы горячитесь, милостивый государь, — отвечал он спокойно, — мне все равно, на ком ни жениться; но, очевидно, я не расположен вступить в брак с женщиной, которая способна влюбляться...

Молотов повеселел.

— Я человек пожилой, степенный, и у ме-

ня их было две на примете, и если эта не хочет, бог с ней, — найдется другая...

— Так вы откажетесь? — вскрикнул с радостью Молотов.

— Знаете дочь Касимова? — спросил генерал, не отвечая на слова Егора Иваныча...

— Знаю.

— Какова она?

— Прекрасная девица.

— Сколько ей лет?

— Двадцать три года...

— Умеет держать себя в обществе?

— Да.

— Хорошая хозяйка?

— Почти весь дом на ее руках...

— К страсти неспособна?

— О нет.

— И ко всему этому недурна?

— Почти красавица...

— Чего же лучше! Вот я на ней и женюсь; мне решительно все равно. Значит, вы напрасно выходили из себя.

Молотов радовался такому обороту дела и с любопытством рассматривал лицо Подтяжина. Оно было важно, степенно, во всеору-

жии генеральского чина, и показывало, что этот форменный человек никогда не позволит себе вступить в законный брак с женщиной, которая не только полюбит другого, помимо его, но и с такой, которая полюбила бы его самого, генерала Подтяжина. Он никому не позволит влюбиться в себя, да и сама природа поддержит его в этом случае. Подтяжин, с своей стороны, обязуется отпускать жене ежедневно определенную цифру поцелуев, давать ей жалованье и, наконец, согласен иметь детей, а жена обязана представить в своей персоне те особые приметы, которые он выставил Молотову в допросных пунктах по поводу Касимовой. Молотов благословил судьбу, что генерал имеет такой абсолютно архивный темперамент, что у него такой огромный запас сухости в сердце, что зачаделый лик его боится страстных поцелуев. «Как это хорошо!» — думал Егор Иваныч и радовался.

— Но, — сказал Подтяжин, — пока не объяснится дело, я не могу дать вам положительного ответа...

— Так поезжайте, ваше превосходитель-

ство, теперь же и спросите Надежду Игнатьевну лично, — вы и уверитесь, что я говорю правду.

— Это так, но у меня такая пропасть занятий. Однако делать нечего, надо потерять часа полтора времени... Мне все одно, на ком жениться, но дело требует обследования... Поедемте...

— Не замолвите ли, ваше превосходительство, в мою пользу слова?

— Кому?

— Дорогову.

— Я подумаю.

И вот Подтяжин поехал с Молотовым сказать Игнату Васильичу, что если Надя не хочет быть его женою, то он не сердится, ему все равно, только надо было раньше дать знать о том, потому что он человек занятой и у него мало времени. Из множества сплетней, глупостей и пошлостей образовались было серьезные препятствия для любви Молотова, и вот то же лицо, которое было причиною всех несчастий, развязывало все дело. Кто бы мог подумать, что оно примет такой исход? Сколько пережито напрасных страданий и

нелепой вражды, сколько обид нанесли друг другу самые близкие люди, как долго они будут помнить зло и горе! — и вот вдруг оказывается, что жених-генерал, причина всех несчастий, равнодушно и без спору уступает свое место другому и, пожалуй, готов превратиться в посаженного отца Молотова. Лишь только он явился в семье Нади, жизнь ее потемнела, все около ее стало разрушаться и стягиваться в заколдованный круг, готовый задавить ее совсем... А он все стоит в стороне, ему и дела нет; настрадались и отец, и мать, и вся родня; дошло до страшного удушья, до последнего часа жизни, и тогда лишь он является и говорит: «Да мне все равно, я женюсь и на другой».

Нелепые страдания, ненужная возня!..

Молотов передумал все это, стоя на лестнице, которая вела в квартиру Дороговых, и дожидаясь, скоро ль выйдет Подтяжин, чтобы узнать, чем кончилось дело. Он сказал генералу, что будет его ждать. Но вот он вдруг услышал, что кричат сверху его имя. Он стремительно бросился по лестнице и через мгновение был у Дороговых... Он стоит среди ста-

рых знакомых, с которыми он жил душа в душу несколько лет и которые, когда столкнулись интересы, едва не прокляли его... Всем было неловко. Надя радовалась, хотелось ей увести его в свою комнату и наговориться досыта; Игнат Васильич не знал, что делать, и молчал; наконец Анна Андреевна нашлась и для такого торжественного случая заговорила о погоде... Генерал раскланивался с хозяевами, помышляя о том, как бы завтра повидаться с Касимовым, не доверяя более своей судьбы чиновнику особых поручений.

Вечер тянулся вяло. Молотов не успел переговорить с Надей. Когда он уходил, Надя шепнула ему:

— Приходи завтра.

Он и сам думал о том же. Череванина он не застал дома. Егор Иваныч нашел на столе карикатуры его и так как был счастлив, то долго смеялся...

— Завтра наша свадьба, — говорил Молотов Наде спустя месяц после примирения, сидя с нею в маленькой ее комнате.

Надя скоро поправилась после тучи, про-

несшейся над ее головой, похорошела, лицо ее цвело счастьем и радостью. Она ничего не ответила Молотову, хотя глубоко взволновалось ее сердце от слов Молотова. Она только взглянула на него, покраснела, застенчиво улыбнулась и хотела, чтобы Молотов сам догадался в эту минуту поцеловать ее.

Молотов поцеловал ее.

— Надя, — сказал он.

— Что?

— Я все думаю, сумею ли сделать тебя счастливою.

Она посмотрела на него с удивлением и спросила:

— Отчего ты так думаешь?

— Оттого, что я сам только от тебя и научился счастьем...

— От меня? твоей ученицы?

— Да... Ты не знаешь, до чего я доживал в своей холостой квартире...

— Что ж я с тобой сделала?

— Жизнь мою осветила.

Надя глядела на него внимательно. Она вспомнила, чем был для нее Молотов, вспомнила рассказы о нем Череванина и, наконец,

свое давнишнее желание разгадать личность Егора Ивановича. Теперь она думала, что Молотов выскажется и накануне свадьбы отдастся ей весь откровенно.

Молотову действительно хотелось рассказать Наде, чтобы она знала, кого завтра назовет своим мужем...

— Знаешь ли ты, Надя, что я до сих пор человек без призвания?

— Как же это?

— Да так же, как и тысячи людей. Помнишь, я говорил тебе, как не хотелось идти в чиновники, и, однако, я должен был надеть мундир?

— Помню.

— Мне захотелось отделаться от службы не по призванию, и всю жизнь не мог от нее отделаться. Нам говорили, что отечество нуждается в образованных людях, но посмотрите, что случилось: весь цвет юношества, все, что только есть свежего, прогрессивного, образованного — все это поглощено присутственными местами, и когда эта бездна наполнится? Редкий человек выберет карьеру по призванию; редкий образованный человек не убеж-

ден, что он родился чиновником. Действует какой-то бюрократический фатум, и всё у нас юристы!.. Лишь только кто-нибудь выдирается из своей среды, и думает, как бы сделаться человеком; выходят ли люди из деревни, бурсы, залавка или верстака, — куда они идут? Всё в чиновники! Помещик прожился в деревне и ищет места, это значит — чиновного места; военный выйдет в отставку и хочет нести другую службу, это значит — чиновную службу. Но особенно надо удивляться мелким чиновникам. Никто не работает так усердно, как эти несчастные переписчики чужих дел. В надежде, что авось-либо дадут наградишку, прибавку жалованья, пособие, они трудятся не покладывая рук. Сотни тысяч живут единственно перепискою бумаг, так что для них достать частное занятие — значит достать переписку. Какое странное призвание — родиться единственно затем, чтобы перебелить в жизнь свою до миллиона черняков и потом сойти со сцены! Иной лишь проснется, у него дома наемная работа, потом в должности пишет, придет домой и опять работает пером до истощения сил, до одурения. Представьте се-

бе, что человек всю жизнь только и делает, что, захватив памятью строку, написанную чужой рукой, переносит ее на бумагу; целую жизнь держит в своей голове чужие, не интересующие его, не нужные ему мысли, и представьте, что за все это он едва-едва существует... Чиновники — самый испитой народ. А между тем надо сознаться, что большинство образованных людей находится именно в этом сословии. Чиновничество — какой-то огромный резервуар, поглощающий силы народные. Вот и я, мужик по происхождению, по карьере все-таки чиновник...

— Как же это случилось?

— Со мной и все случилось. Я не выбирал себе того или другого положения, а оно само приходило, помимо моего выбора и воли. Случилось, что я попал к профессору на воспитание, потом в Обросимовку, потом на губернскую службу, потом скитался по России, перебрал множество занятий и наконец попал в архивариусы, — все случилось. Выделился я из народа и потерялся. Натура звала на какое-то другое дело, во мне было полное желание определить себя, отыскать свою дорогу,

самостоятельно выбрать род жизни, и ничего не мог я сделать, — судьба насильно надела на меня мундир чиновника и осудила на архивную карьеру.

— Что же за причина тому?

— Великая причина, страшная сила!

— Какая?

— Нужда, «безживотие злое», как выражается Михаил Михайлыч.

Молотов, сбираясь с силами, провел рукой по лбу.

— Было время, не жалел я себя, способен был на всевозможные жертвы. Прослужив полтора года в губернии, я очень хорошо понял, что чиновничество — не мое призвание. Когда снял мундир, то думал: «Не пойду же я в чиновники, буду заниматься частными делами, не увидят меня более в мундире никогда». Вот и пошел парень гулять по свету, догулялся до довольно узкого существования. Я поехал в Петербург, думая заработать здесь копейку. Петербург мне родной город и потому сманил меня к себе. Но с этого-то времени судьба и начала меня преследовать; она не давала мне отдыху и молодые лета растрати-

да на добыванье насущного хлеба. На пути... в столицу, «домой», как я говорил тогда, хотя у меня не было в Петербурге ни роду, ни племени, — пьяный ямщик сделал мне карьеру. Он ударил телегу в пень, я вылетел на землю и сломал себе ногу. Еле протащился я две версты, весь разбитый, до уездного городишка, где и слег на наемной квартире, у дьячихи. Тяжелое это было время, грустное, бесприютное и холодное, как русская зима... проклятое время! Лежал я с затынутыми в лубки ногами; пошел бы дальше, да нельзя, и безотрадно пересчитывал, как рубль за рублем уходили на лечение из двух запасных сотен. Вот когда я в первый раз понял, что значит в жизни монета! Пять месяцев я пролежал в болезни, и когда выздоровел, то в кармане всего оставалось двадцать восемь рублей, а до столицы шестьсот верст. Ну, надо подниматься и собираться в дорогу, как вечный жид, без цели, без назначения. «Что же я за миф?» — думалось мне. Горько стало на душе. Простился я с дьячихой, расспросил путь и направился на ближайший губернский город пешком, сберегая каждый грош. Но через месяц у меня не

было ни копейки; я продал часы и пошел дальше по направлению к Петербургу. Наконец скоро осталось нечего продавать и пришлось остановиться на постоялом дворе, и стал я справляться, не нуждается ли какой помещик в учителе для детей. Никому не надо было. Дошло до последней беды — платить нечем было дворнику. Что было делать? Чужой хлеб есть? протянуть руку Христа ради, воровать? Я здоров был и силен, и нисколько мне не стыдно вспомнить, что я на постоялом дворе колол дрова, рубил капусту и нянчил ребят хозяйских, за что меня и кормили. Может быть, в этом и было мое призвание! В это время напала на меня апатия, и я ничего не делал, справляя день за днем черную работу, — а сработать я мог больше всякого мужика, потому что здоров и силен, как медведь... Два месяца я прожил чисто народной жизнью и узнал, что это совсем не идиллия, — тяжела она... Но, право, когда я разговаривался с ними, то встречал много добрых душ, которых никогда не забуду... Здесь я прожил около двух месяцев. Наконец выпало местечко. Надо было одному помещику приготовить сына

в гимназию. На это ушло еще семь месяцев... Сам же я и отвез своего ученика в столицу, где и поместился он у своего родственника; а я, употребив около четырнадцати месяцев на переселение в Петербург, долго не встречал не только родного, но и знакомого человека. Заняв квартиру за четыре рубля, я стал выглядывать, где бы зашибить копейку. Один университетский товарищ нашел мне вакансию у генеральши Чесноковой — опять учить детей. Дети были очень понятливы и полюбили меня; но генеральша, женщина полная, рослая, с лошадиной комплекцией, хотела вызвать меня на такие отношения к ней, и жалованье даже предлагала за новую работу, что я только плюнул на порог ее дома и больше не являлся к ней. После этого быстро сменялись одно за другим занятия. Я попал в купеческую контору, жалованье хорошее положили; но здесь все клонилось к злостному банкротству. Я счел долгом предупредить о том кредиторов. Коммерческие люди так озлились, что наняли двух приказчиков поколотить меня... Если бы поколотили меня, я от тебя этого не скрыл бы, но они струсили... По-

сле этого я нашел место бухгалтера при одном акционерном обществе, меня и оттуда скоро выгнали. После этого добыл корректурные занятия при журнале; но скоро редактора какой-то князь, меценат литературный, просил дать занятия одному бедному студенту, и меня сместили. Снова нашел учительское место, — так денег не платили. И ты думаешь, что это меня только судьба преследовала, а другие счастливее на занятия и вольную работу? Нет, милая моя, это общее положение всех чернорабочих. У нас частная работа менее развита, чем общественная. Вольный труд неразвит и унизителен. Наконец, и откуп, открывающий объятия для многих наших образованных юношей, ласково приглашал к себе нуждающегося человека, но туда я и сам не пошел. Попытался я переводами заняться, ничего не вышло; написал три фельтона и получил по восьми рублей за каждый, — значит, я был и литератором. Какие только должности не проходил я, бился как рыба об лед, а воровать не хотелось, хотя, испытавши, что значит честный труд, смотрел на людей снисходительно. И вышел из меня

человек, порождение нашего времени, пролетарий, добывающий насущный хлеб всевозможным трудом, долго собирающий собственность и в один незаработный год пожирающий ее.

— Боже мой, как тяжело жить на свете! — проговорила Надя.

— Да, голубушка моя...

— Много же тебя оскорбляли...

— Ничего, стерпелся... Смешно вспомнить, как в самой юной молодости выходил из себя за то, что одному помещику вздумалось выбранить меня за глаза, а теперь хоть в глаза брани меня — так мне все равно, даже лень и сердиться... Мне-то что за дело, что обо мне говорят другие? Я сам себя знаю! Я прежде не понимал самой простой вещи: господа, презирающие нас, просто-напросто несчастные, бедны умом, невоспитанны. Мне их жалко теперь. Стала появляться в моем характере какая-то одеревенелость, вследствие которой меня ничем не проймешь: сплетня, дурное мнение лица или кружка, сословное презрение на меня не действуют. О чем тут хлопотать и шуметь?.. Пусть их!.. Они считают себя

благодетелями, давальцами, меценатами?.. Что же я-то стану делать, когда у них голова скверно и уродливо устроена? Не сердиться же, в самом деле, когда, например, лает собака; из сотни собак разве одна не бросается на незнакомого, на не своего, и таких собак не любят хозяева. Но мало ли есть неприятностей на свете? Дождь идет, клопы кусают, душно в воздухе, прыщи на лице — и из-за этого волноваться? Я настолько независим ото всех, что могу считать людей, презирующих меня, ничтожными. Что ни думай они обо мне — мне все равно. Моя квартира для них заперта, как и их для меня, — значит, мы квиты. Я их не пущу к себе, живу без них, и, право, оттого мне не хуже. Презрение их ничтожно и низко. Но не сразу же я дошел до такого благодетельного равнодушия; постепенно и медленно утихала сокрытая ненависть, пропадали насмешки и дерзости; самое презрение к ним пропало, и наступило полное равнодушие, так что обиды не шевелят и сердца моего. Жизнь, Наденька, вытекает не из принципа, а из природы, не из теории, а из причины. Поэтому у меня и должно было ро-

даться особенное, оригинальное понятие о чести. Я глух к чужому отзыву о своей личности, — он даже не раздражает меня несколько: «Это ваше мнение, говорю я, а не мое, — я не так думаю»; а больше мне ничего и не надо. Когда сыплются на человека в продолжение многих лет несправедливые оскорбления, он становится к ним бесчувствен и равнодушен. У нас свой гонор, особенный; например, иного труса вызовут на дуэль, и он долгом считает принять его, не откажется ни за что, а я откажусь, хоть не трус вовсе; скажут, что это бесчестно, я не обращаю на то никакого внимания; пристанут сильно, стащу в полицию — вот и все. Иному господину стыдно сказать, что у него есть невеликосветские друзья и знакомые, а я ведь мужик и, знаешь ли, нахожу особое удовольствие, когда у княгини Зеленищевой, детям которой даю уроки, выпадает при гостях ее случай вставить такое словцо: «Вот когда я однажды рубил капусту на постоялом дворе», либо что-нибудь вроде этого. Михаил Михайлыч тоже любит потешиться в этом роде. Рисуя портрет какого-нибудь аристократа, он вдруг в его салоне рас-

скажет, как он Христа славил, читал по покойникам и собирал в радуницу на могилках блины. Презанимательно выходит!

Перед Надей раскрывалась действительная жизнь, раскрывался характер Егора Иваныча, и она с пожирающим вниманием слушала его рассказ.

— Да, трудно зарабатывать в нашем обществе хлеб своими руками. Лишь откроется место учителя, корреспондента, управляющего домом, секретаря и т. п., сейчас являются сотни претендентов. Мне казалось, да и теперь часто думается, что в самом честном-то труде много нечестного. Отчего мне работу, а не другим? Ведь и они есть хотят? сделают то же, что и я? Права одинаковы на работу. Почему же мне ее дали? Потому что счастье, ловкость, случай? Работать всякий станет, будьте уверены: как не трудиться, когда желудок кричит: «Работы, работы!» Но и самую работу надо завоевать, как дикарь завоевывает у дикаря скот и пожитки. Мы постоянно поедаем друг друга. И неловко, моя Наденька, было принимать участие в борьбе из-за куска хлеба, из-за пожитков. Но что ж делать? Они есть

хотят, и я хочу; они имеют право на работу, и я тоже; они сделают хорошо дело, и я хорошо; я не прав, что отбиваю работу у них, и они не правы, что отбивают ее от меня. Много ли людей, которые работают не потому только, что есть хотят? Чего фальшивить и становиться на ходули? Деньги всем нужны. Были когда-то побуждения иные, высшие, а теперь приобретать хочется, копить, запасать и потреблять. Не поэтично, но честно и сытно. Честная чичиковщина настала, и вот сознаю, что я тоже приобретатель. И сегодня, и завтра, и целые годы надо прожить, и прожить так, чтобы в лицо не наплевали, — значит, надо работать без призвания к работе. «Злато — металл презренный», — кто это сказал такую чепуху? Деньги, монета — учреждение государственное; за деньги можно хлеба купить, современных идей, потому что они не на улице валяются, а продаются в книгах, можно купить свечу и поставить ее какому-нибудь угоднику. «Все куплю, сказала злато; все возьму, сказал булат» — это армейский софизм, потому что и сам-то булат куплен на деньги. О, если бы побольше злата, а булатов

поменьше!

— Как же ты опять поступил чиновником? — спросила Надя.

— Отведав вольного труда, я нашел, что департамент вернее обеспечивает человека. Неутешительно, а справедливо. Но на этот раз я пошел в департамент без всякой мечты о деятельности общественной, а просто на казенную пищу, на государственные харчи. Не любовь к труду, приносящему деньги, а именно любовь к деньгам руководила мною. Я освоился со службой, втянулся, но, по совести сказать, не люблю ее. Отношения к службе у меня те же, какие у иного школьника к уроку. Урок лежит в голове — вот падежи, плюсы, тексты, хронологическая цифра, французский глагол, — а школьнику что за дело до всего этого? Урок сам по себе, школьник сам по себе. Лишь пришел я из департамента домой, мне и дела нет до него. Так ломовая лошадь тянет воз, а какая ей забота до него? Плеть повисла над спиной. И надо мной нужда нависла плетью. Я маленький механизм в огромной машине служебной. Механик заведет машину — и все механизмы, винтики, пружины-

ны, кольца и цепочки служебные приходят в движение; остановит машину — и мы остановимся. Главный болт работает, а мы уже вертимся за ним. Денег не дадут — заниматься не стану; дело остановится на половине — мне не жалко; уничтожьте мои труды — я не буду горевать. Отерпелся я и занимаюсь чем угодно, не чувствуя особенного влечения к предмету труда; но не скучаю занятиями, люблю самый процесс работы, потому что моя натура требует непременно движения. Я мелочной торговец и человек без призвания. Но, несмотря на механизм труда, моею работою всегда довольны, я точен и исполнитель. Иногда и скучно, но не обращаю на то внимания и работаю...

— Что же заставляет тебя быть чернорабочим?

— Ты думаешь, неужели одна любовь к деньгам и процессу труда? Неужели ты не понимаешь, что? значит чувство собственности? Оно может развиться до щекотливости, чтобы быть независимым, никогда не просить, никого не благодарить за кусок хлеба. Я горд, Надя, и не хочу, чтобы кто-нибудь слу-

жил для меня; а и захотел бы, так никто служить не станет. Положение вытекает прямо из обстоятельств. Я тебе говорил, что жизнь происходит из натуры, а не принципа, из причины, а не теории. Но не сразу я добился и такого положения в обществе. Много было потрачено сил душевных, терпенья и выжиданья, прежде нежели я освоился, огляделся, приобрел ловкость, такт и изворотливость, приобрел связи и рекомендацию и наконец обстановился. Я теперь вполне обеспечен, потому что, при даровой квартире и дровах за управление домом, могу проживать ежегодно до полуторы тысячи рублей, сыт всегда достаточно, одет прилично, помещен в тепле. Я люблю свою квартиру... Ты увидишь в ней, Надя, что-то семейное, домовитость, порядок и уют. На стенах картины и канделябры, на окнах пальма, золотое дерево, фига, лимон, кактус и плющ, на столах вазы, на полу ковер, перед камином дорогой резьбы ореховое кресло. Я много положил забот, чтобы устроить свой кабинет изящно. В нем мы будем проводить время, читать, работать. Много ты у меня найдешь серебра, фарфор, мрамор,

мору и дорогих бобров. Я постоянно приобретаю себе вещи, и каждая из них куплена обдуманно, с размышлением, по личному вкусу; вещь прочная и изящная. Я долго собирал книги, собирая их понемногу, и составила библиотека всех моих любимых авторов. У меня есть отличный микроскоп, зрительные трубы и другие физические инструменты. Положенное число раз я бываю в русском театре и на итальянской опере; абонируюсь в библиотеке и читаю все лучшее. Я понемногу свивал свое холостое гнездо и десять лет копил усидчиво собственность. В шкатулке собственной работы у меня заперто более пятнадцати тысяч. Вот таким-то образом я одел себя, обул, поместил в тепло, среди красивой обстановки, добыл себе изящную в возможных размерах жизнь, и не стоит теперь передо мной каждый день, каждый час неотразимый, мучительный, иссушающий мозги вопрос: «Хлеба, денег, тепла, отдыха!»

— И ты счастлив был? — спросила Надя пытливо.

— В минуты доброго расположения духа почти счастлив. Мне думалось тогда: достань-

те вы в столице ежегодно полторы тысячи, заработайте так, чтобы в каждой копейке могли дать отчет, за что она получена. Это трудно; у меня же есть деньги и совесть! Вспомнилось мне пройденное поприще: сколько забот, трудов, часто унижительных, пришлось вытерпеть! Тогда я не мог не ощутить довольства собой, душевного спокойствия и рад был, когда в это время заходил ко мне гость. Один, заметь, Надя, без чужой помощи, единственно себе я обязан моим комфортом. Мое сребролюбие благородно, потому что я никогда и ничего не крал, ни от кого не получал наследства, у меня ничего нет подаренного, найденного, заработанного чужими руками. Все, что у меня есть в комнатах, в комодах, на плечах, в кармане, — все добыто моей головой и руками. Ни материально, ни морально я ни от кого не зависим. Меня судьба бросила нищим; я копил, потому что жить хотел, и вот добился же того, что сам себе владыка. Я, Надя, свободен и никому не дам отчета, как я живу и что думаю, кроме тебя, Надя. Часто среди этих мыслей возникал твой образ, и я долго и задумчиво сидел в кресле перед камином. В это

время я был счастлив.

Молотов задумался, вспомнив былые дни.

— Но такое расположение духа не часто гостило в моей холостой квартире. Большею частью время шло ровно и спокойно; после труда и отдых, и обед, и пустой разговор — все имело свою прелесть. Я испытывал то физическое наслаждение, которое так хорошо знает чернорабочий, отдыхая после труда. Но душа спала, и когда просыпалась, я ощущал страшную скуку и тоску. «Экое дело, — думалось мне, — что я честен, не пью водки и в квартире у меня хорошо!.. Что в том толку?.. И не глуп я, и силен, и работать люблю, но куда пошли мои силы?.. На брюхо свое, на добывание насущного хлеба!.. Благонравная чичиковщина!.. скучно!.. благочестивое приобретение, домостроительство, стяжание и хозяйственные скопы!..» Холодно становилось мне в своей квартире и пусто, и нередко я испытывал то состояние, когда и страх, и точно мучения совести, и отвратительная тоска теснились в мою душу... «Черт бы побрал, — думал я, — мое мещанское счастье, как говорил Михаил Михайлыч, и мою искусственную неза-

висимость в одиночку, без товарищества и любви». Иногда так тяжело становилось, что я готов был схватить и брякнуть об пол вазы, порвать картины, разметать цветы и статуи. Противно было думать, что из-за них-то я и бился всю жизнь... Вещами наслаждаться, книгами, театрами, а с людьми не жить! Когда-то жизнь мне казалась так широка, беспредельна. Я, Надя, родился космополитом, не был связан ни с какою почвою, не был человеком сословия, кружка, семьи. Казалось, так легко было вступить в свет. Но я был выходцем из своего сословия и потому, как все выходцы, не понимал, что многого требовать нельзя, что необходима умеренность, тихий глас и кроткое отношение к существующим интересам общества. Мы ломать любим, либо делаемся отъявленными подлецами, либо благодушествуем, как я благодушествую. С тупым изумлением смотрим мы на людей, потому что они не похожи на нас. Положение нелепое — торчать от всех особняком; пальцами начнут указывать, на смех поднимут, возненавидят. Поневоле пришлось съежиться, обособиться, притвориться, что и ты такой

же человек, как все, а дома устроить себе и моральную и материальную жизнь по-своему, завести своих пенатов, своих поэтов, общество и друзей. Что же делать, не всем быть героями, знаменитостями, спасителями отечества. Пусть какой-нибудь гений напишет поэму, нарисует картину, издаст закон, — а мы, люди толпы, придем и посмотрим на все это. Не угодит нам гений, мы не будем настолько восхищаться, потому что толпа имеет полное право не понимать гения... Иначе простым людям жить нельзя на свете... Правду ли я говорю, Надя?

Надя посмотрела на него и ничего не отвечала...

— Неужели запрещено устроить простое, мещанское счастье...

Надя ожидала, что он еще скажет.

— Надя, миллионы живут с единственным призванием — честно наслаждаться жизнью... Мы простые люди, люди толпы...

Молотов подошел к ней.

— Ты согласна на это?

— Я... твоя ведь... — ответила Надя.

Молотов обнял ее...

В это время темное кладбищенство глянуло в двери.

Но Михаил Михайлыч, заметив, что Молотов и Надя обнимаются, поспешил уйти...

Тут и конец мещанскому счастью. Эх, господа, что-то скучно...